



# ВИРТУАЛЬНАЯ

## АЛЬТЕРНАТИВЫ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

# ИСТОРИЯ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

# НИАЛА ФЕРГЮСОНА

CORPUS

**ЧТО,  
ЕСЛИ  
БЫ**

КАРЛ I ИЗБЕЖАЛ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ?

НЕ СЛУЧИЛОСЬ АМЕРИКАНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ?

В 1912 ГОДУ БЫЛ ВВЕДЕН ГОМРУЛЬ?

БРИТАНИЯ "ОСТАЛАСЬ В СТОРОНЕ" В АВГУСТЕ 1914 ГОДА?

ГЕРМАНИЯ ВТОРГЛАСЬ В БРИТАНИЮ В МАЕ 1940 ГОДА?

НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ ПОБЕДИЛА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ?

УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ?

ДЖОН Ф. КЕННЕДИ ОСТАЛСЯ ЖИВ?

КОММУНИЗМ НЕ ПОТЕРПЕЛ КРАХ?

Ниал Фергюсон

**Виртуальная история:  
альтернативы и предположения**

«Corpus (АСТ)»

1997

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

### **Фергюсон Н.**

Виртуальная история: альтернативы и предположения /  
Н. Фергюсон — «Corpus (АСТ)», 1997

“Виртуальная история” под редакцией известного британского историка Ниала Фергюсона (р. 1964) – сборник статей на актуальные темы новой и новейшей истории стран Европы и Америки. Авторы книги, профессиональные историки, опираясь на широкий круг документальных и нарративных источников, задаются интереснейшими вопросами, сутью которых является один: А что если бы история была иной?

УДК 94(100)

ББК 63.3(0)

© Фергюсон Н., 1997  
© Corpus (АСТ), 1997

# Содержание

Благодарности	6
Введение	7
Глава первая	66
Глава вторая	91
Конец ознакомительного фрагмента.	98

**Виртуальная история:  
альтернативы и предположения**  
*Под редакцией Ниала Фергюсона*

© Niall Ferguson, 1997. All rights reserved

© З. Мамедьяров, иллюстрации, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО «Издательство АСТ», 2019

\* \* \*

## Благодарности

В сборнике работ соавторы обычно выражают благодарности в примечаниях к собственным текстам. Редактор, однако, имеет право перечислить благодарности крупным шрифтом. Я хочу сказать спасибо: Факультету истории нового времени Оксфордского университета; исполняющему обязанности директора и научным сотрудникам Колледжа Иисуса Оксфордского университета; моему агенту Джорджине Кейпел из фирмы *Simpson, Fox Associates*; моим редакторам Питеру Страусу и Тане Стоббс из издательства *Macmillan*; Глену О'Харе из оксфордского Колледжа Иисуса за его неоценимую помощь при работе над вступлением и моей главой; а также Вивьен Боуэр из оксфордского Колледжа Иисуса. Отдельное спасибо за замечания к моим фрагментам книги доктору Кристоферу Эндрю из Колледжа Корпус-Кристи Кембриджского университета, профессору Джонатану Кларку из Канзасского университета, профессору Рою Фостеру из Оксфордского университета, доктору Джонатану Штейнбергу из Колледжа Тринити-Холл Кембриджского университета, доктору Джону Стивенсону из Вустер-колледжа Оксфордского университета и профессору Норману Стоуну из Оксфордского университета. Мне не перечислить всех имен друзей и коллег, которые помогли мне, терпеливо задавая вопросы о теории и практике гипотетической истории за чашкой кофе, обедами и ужинами. И особенно я хочу поблагодарить свою жену Сьюзен, которая дарила мне вдохновение.

## **Введение**

### **Виртуальная история**

#### ***На пути к “хаотической” теории прошлого***

#### **Нил Фергюсон**

*История... представляет собой непреходящий, неостановимый хаос бытия, в котором бесконечное число элементов образует форму за формой. И этот хаос... историку предстоит описать и проанализировать с помощью науки!*

**Томас Карлейль**

*Исключительного прошлого не существует... Существует бесконечное количество прошлых, каждое из которых в равной степени состоятельно... И в каждый момент времени, каким бы кратким он ни казался, цепь событий раздваивается, подобно ветви дерева, на которой появляются новые побеги.*

**Андре Моруа**

*Непреходящее достижение исторической науки заключается в историческом осознании – интуитивном понимании – того, как на самом деле ничего не происходит.*

**Льюис Хэмилтон**

*Историк должен... постоянно помещать себя в тот момент прошлого, в котором известные факторы допускают различные варианты развития событий. Если он говорит о битве при Саламине, должно казаться, словно персы еще могут победить; если он говорит о Брюмерском перевороте, должно оставаться непонятным, не выгонят ли с позором Наполеона.*

**Йохан Хейзинга**

Что, если бы не случилось Английской революции? Что, если бы не произошло Войны за независимость США? Что, если бы Ирландию не разделили на две части? Что, если бы Великобритания не вступила в Первую мировую войну? Что, если бы Гитлер осуществил вторжение в Британию? Что, если бы он победил Советский Союз? Что, если бы русские выиграли холодную войну? Что, если бы Кеннеди остался жив? Что, если бы не появился Горбачев?

Эти гипотетические или “противоречащие фактам” вопросы сталкиваются с простым возражением: зачем их вообще задавать? Зачем думать о том, чего *не* случилось? Говорят, после драки кулаками не машут, так что нечего и гадать, как можно было ее предотвратить. (Еще бесполезнее рассуждать, что было бы, если бы драки не случилось вообще.)

Ответить на это возражение можно довольно просто, ведь мы постоянно задаем себе такие “противоречащие фактам” вопросы в повседневной жизни. Что, если бы я не превысил скорость или отказался от последнего бокала? Что, если бы я никогда не встретил своего супруга? Что, если бы я поставил на фаворита, а не на его соперника? Такое впечатление, что мы не можем не представлять себе альтернативные сценарии: что могло бы случиться, если бы мы поступили так, а не иначе... Мы представляем, как избегаем прошлых ошибок или совершаем ошибки, которых нам едва удалось избежать. Но это лишь грезы. Само собой, мы прекрасно понимаем, что не можем вернуться в прошлое и поступить по-другому. Однако сами

размышления в сослагательном наклонении представляют собой важный аспект нашей способности к обучению. Поскольку решения о будущем – обычно – принимаются на основании оценки потенциальных последствий альтернативного варианта действий, вполне логично сравнивать результаты наших прошлых действий с вероятными результатами тех действий, которые мы могли бы совершить.

Голливуд без устали эксплуатирует наше очарование тем, что в грамматике называется сослагательным наклонением (“Но для *X*, возможно, не было *Y*”). В фильме Фрэнка Капры “Эта замечательная жизнь” ангел-хранитель Джимми Стюарта ловит его на пороге самоубийства и показывает, насколько хуже был бы мир – или хотя бы его родной город, – если бы его не было. В “Пегги Сью вышла замуж” женщина среднего возраста в исполнении Кэтлин Тернер сожалеет о том, кого выбрала в мужа много лет назад, а в “Назад в будущее” Майкл Джей Фокс едва не предотвращает собственное зачатие, отправляясь в прошлое и случайно уводя свою будущую мать у будущего отца. Подавленный гибелью своей девушки во время землетрясения, “Супермен” Кристофера Рива обращает время вспять и спасает ее от “будущей” катастрофы, свидетелями которой только что стали он сам и все зрители. Писатели-фантасты тоже неоднократно прибегали к тому же приему. К примеру, в “Поисках наугад” Джона Уиндема физик Колин Трэффорд попадает в параллельную вселенную, где не случилось ни Второй мировой войны, ни изобретения атомной бомбы, и обнаруживает там свое *alter ego* – распутного, поколачивающего жену писателя. В подобном рассказе Рэй Брэдбери представляет, как весь мир медленно, но верно меняется из-за путешественника во времени, который случайно наступает на доисторическую бабочку<sup>1</sup>.

Само собой, голливудские фильмы и фантастические романы в академической среде значения не имеют. Однако сама эта тема привлекала внимание и весьма авторитетных писателей. В своем веймарском шедевре “Человек без свойств” Роберт Музиль подробно описал нашу предрасположенность к размышлениям в сослагательном наклонении:

Но если есть на свете чувство реальности – а в его праве на существование никто не усомнится, – то должно быть и нечто такое, что можно назвать чувством возможности. Кто обладает им, тот, к примеру, не скажет: случилось, случится, должно случиться то-то и то-то; нет, он станет выдумывать: могло бы, должно бы случиться то-то и то-то, хорошо бы случиться тому-то; и если ему о чем-нибудь говорят, что дело обстоит так-то и так-то, он думает: ну, наверно, оно могло бы обстоять и иначе. Таким образом, чувство возможности можно определить как способность думать обо всем, что вполне могло бы быть, и не придавать тому, что есть, большую важность, чем тому, чего нет... Между тем возможное включает в себя... еще не проснувшиеся намерения бога. Возможное событие или возможная истина – это не то, что остается от реального события или реальной истины, если отнять у них их реальность, нет, в возможном, по крайней мере, на взгляд его приверженцев, есть нечто очень божественное, огонь, полет, воля к созиданию и сознательный утопизм, который не страшится реальности, а подходит к ней как к задаче, как к изобретению.

Тем не менее, как заметил далее Музиль, всегда остаются те, кто считает это чувство возможности в высшей степени подозрительным:

Ясно, что следствия такого творческого дарования могут быть любопытными, и нередко, к сожалению, они представляют то, чем люди

---

<sup>1</sup> Анализ привлекательности этих воображаемых альтернативных миров см. в книге: Pavel Th. *Fictional Worlds*. Cambridge, Mass., 1986.

восхищаются, ложным, а то, что они запрещают, дозволенным – или и то и другое не имеющим ровно никакого значения. Такие люди возможности витают, как говорят, в облаках, в облаках фантазии, мечтаний и сослагательного наклонения. У детей, имеющих эту тягу, ее настойчиво искореняют, называя при них таких людей фантазерами, мечтателями, слюнтяями, а также критиканами и придирами<sup>2</sup>.

И это, можно сказать, довольно точно описывает отношение поколений историков, для которых, как пренебрежительно заметил Э. Х. Карр, “сослагательная” (*counterfactual*) история не более чем “салонная игра”, “отвлекающий маневр”<sup>3</sup>. С этой точки зрения нет и никогда не было никаких сомнений в том, что вопросы типа “Что, если?” вообще не стоит задавать. Обдумывать “все то, что могло бы случиться” – значит, не только принимать исторические теории о “плохом Иоанне Безземельном” и “носе Клеопатры”. Это значит быть неудачником:

Множество людей, которые прямо или косвенно пострадали от последствий большевистской победы... желает заявить свой протест; и это выражается в том, что, читая об истории, они позволяют своему воображению разгуляться и представить всевозможные более приемлемые вещи, которые могли бы произойти... Это исключительно эмоциональная, неисторическая реакция... В группе или нации, которая стоит на обочине истории, а не седлает историческую волну, превалируют теории, подчеркивающие роль случайности в истории. Провалившие экзамен всегда считают, что его результаты не более чем лотерея... История представляет собой... перечисление того, что люди сделали, а не того, что им сделать не удалось... Историк интересны те, кто... сумел чего-то добиться<sup>4</sup>.

Такая враждебность к сослагательному наклонению была и остается на удивление типичной для профессиональных историков. Э. П. Томпсон и вовсе назвал “противоречащие фактам выдумки” не более чем “*Geschichtswissenschaftsblödsinn*, лишенным историзма бредом (*unhistorical shit*)”<sup>5</sup>.

Стоит отметить, что не все историки причисляют себя к “детерминистам” даже в широком смысле слова, который предпочитают использовать англомарксисты вроде Карра и Томпсона. Между сторонниками исторической предопределенности – идеи, что события в некотором роде предварительно запрограммированы, то есть случившееся должно было случиться, – и сторонниками более ограниченной каузальности существуют важные различия. Не все сторонники линейной или потоковой каузальности, при которой все события представляют собой единственно возможные следствия “определяющих” предпосылок, разделяют мнение множества детерминистов девятнадцатого века, полагавших, что она имеет какую-то цель или однозначную направленность. Существуют весьма глубокие различия между религиозными историками, которые видят божественную волю в итоговом (но не обязательно единственно верном) течении событий; материалистами, которые считают историю поддающейся объяснению в категориях, аналогичных категориям естественных наук (таким как универсальные законы) или произведенным от них; и идеалистами, для которых история представляет собой происходящую в воображении историка трансформацию прошлой “мысли” в поддающуюся объяснению (и часто телеологическую) структуру. Тем не менее они придерживаются одного общего мне-

---

<sup>2</sup> Музиль Р. *Человек без свойств* / Пер. С. К. Апта. Москва, 1994.

<sup>3</sup> Carr E. H. *What Is History?* 2<sup>nd</sup> ed. London, 1987.

<sup>4</sup> Carr E. H. *What Is History?* 2<sup>nd</sup> ed. London, 1987. Pp. 44f., 90, 96, 105.

<sup>5</sup> Thompson E. P. *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 300.

ния, которое стоит выше всех этих различий. Все три школы мысли считают вопросы типа “что, если?” в корне неприемлемыми.

Хотя Бенедетто Кроче и был непоколебимым противником материалистического детерминизма, к которому склонялись такие ученые, как Карр и Томпсон, он беспощадно критиковал “абсурдность” гипотетических вопросов:

Когда факт подвергается оценке, этот факт рассматривается таким, какой он есть, а не таким, каким он мог бы быть в ином случае... Чтобы исключить из истории “сослагательность”, которой в ней не место, полагается постоянно подтверждать историческую неизбежность... Запрещается... антиисторическое и алогичное “если”. Такое “если” своевольно разделяет ход истории на неизбежные факты и случайные факты... Под знаком этого “если” один факт в нарративе называется неизбежным, а другой – случайным, причем второй мысленно устраняется, чтобы изучить, как развивался бы первый сам по себе, если бы на него не повлиял второй. Этой игре мы все предаемся в моменты рассеянности и праздности, когда мы раздумываем, как сложилась бы наша жизнь, если бы мы не познакомились с конкретным человеком... получая удовольствие от этих раздумий, словно бы мы сами представляем собой неизбежный и стабильный элемент, в то время как нам и в голову не приходит... учесть трансформацию нашего сознания, которое в момент размышления именно такое, какое оно есть, со всеми переживаниями, сожалениями и пристрастиями, просто потому, что мы все же познакомились с этим человеком... Поскольку, если бы мы попытались столь же полно проанализировать реальность, игра закончилась бы очень быстро... При попытке сыграть в такую игру на поле истории, где ей совершенно не место, она оказывается слишком изнурительной, чтобы играть в нее долго<sup>6</sup>.

Еще более яростно противостоял гипотетичности английский философ-идеалист Майкл Оукшотт. По мнению Оукшотта, когда историк “в рамках мысленного эксперимента предполагает, что могло бы произойти, а также во что его заставляют поверить свидетельства”, он выходит “из потока исторической мысли”:

Возможно, если бы святого Павла схватили и убили, когда друзья спустили его со стен Дамаска, христианская религия никогда не стала бы центром нашей цивилизации. В этом отношении распространение христианства можно связать с побегом святого Павла... Однако когда события рассматриваются с такой точки зрения, они сразу перестают быть историческими фактами. В результате получается не просто плохая или сомнительная история, а происходит полное отрицание истории... Разделение... событий на важные и случайные совершенно не свойственно исторической мысли; это вероломное вторжение науки в мир истории.

Оукшотт продолжил:

Вопрос истории заключается не в том, что должно или что могло бы произойти, а исключительно в том, что произошло на основании имеющихся свидетельств. Если бы Георг III был королем Англии, когда начались волнения в американских колониях, вполне вероятно, что возникшие там противоречия

---

<sup>6</sup> Croce B. “Necessity” in *History*, in *Philosophy, Poetry, History: An Anthology of Essays* / Trans. by C. Sprigge. London/New York/Toronto, 1966. Pp. 557ff. Кроче упоминает, что историку, вероятно, проще задать гипотетический вопрос о прошлом, чем о собственной жизни.

не привели бы к войне; однако сделать на этом основании вывод, что Георг III стал именно той случайностью, которая в этот критический момент изменила “естественный” ход событий, значит отринуть историю во имя чего-то менее полезного, пускай и более любопытного... Историку не пристало размышлять, что случилось бы в иных обстоятельствах<sup>7</sup>.

Таким образом, представлять альтернативные варианты развития событий, по словам Оукшотта, “чистый миф, несдержанность воображения”. Должно быть, это один из немногих аспектов, в отношении которых он согласен с Карром и Томпсоном.

Столь враждебные настроения столь разных фигур отчасти объясняют, почему ответы на гипотетические вопросы, с перечисления которых я начал рассказ, гораздо чаще дают писатели, чем историки: например, можно вспомнить недавний детективный роман Роберта Харриса “Родина”, действие которого разворачивается в воображаемой Европе через двадцать лет после победы нацистов<sup>8</sup>. В таких книгах материал тщательно изучен. Однако они неизбежно художественны, а их сюжет следует классической схеме популярного триллера, что само по себе умаляет правдоподобие исторической картины. Вместо того чтобы стать катастрофой, которая едва не произошла – и чтобы предотвратить которую погибли миллионы, – победа нацистов во Второй мировой войне превращается лишь в пикантный фон действия хорошего дорожного чтива. От подобных гипотетических исторических предположений отталкивается и множество других художественных произведений: еще одним хорошим примером может служить роман “Операция” Кингсли Эмиса, в котором он с легкостью отменяет английскую Реформацию<sup>9</sup>. И все же эти книги имеют с историей не больше общего, чем книги по “футурологии”, которую Лондонская библиотека вежливо называет “воображаемой историей”. Футурологи часто предполагают, какие из возможных альтернатив, стоящих перед нами сегодня, выйдут на первый план в грядущие годы, и обычно в основе их предсказаний лежит экстраполяция прошлых тенденций. Однако, судя по точности подобных работ, в их основе с тем же успехом может лежать как астрология, так и гадание на картах Таро<sup>10</sup>.

Тем не менее находились и серьезные историки, которые отваживались анализировать (или хотя бы задавать) гипотетические вопросы. Субтильность определенных исторических фактов всегда очаровывала Гиббона, который время от времени позволял себе писать откровенно гипотетическим образом. Хорошим примером служит его краткая зарисовка событий, которые могли бы случиться, если бы Карл Мартелл не победил сарацин в 733 г.:

Победный марш был продлен на тысячу миль от Гибралтарской скалы до берегов Луары; повторение этого марша привело бы сарацин во владения Польши и на Шотландское высокогорье; переправа через Рейн не сложнее переправы через Нил или Евфрат, а арабский флот мог без морских боев войти

---

<sup>7</sup> Oakeshott M. *Experience and its Modes*. Cambridge, 1933. Pp. 128–145.

<sup>8</sup> Harris R. *Fatherland*. London, 1992. Мысль о победе Германии вдохновила и множество других, менее успешных сочинений, например: Dick Ph. K. *The Man in the High Castle*. New York, 1962; Benford G. and Greenberg M. (Eds). *Hitler Victorious: Eleven Stories of the German Victory in World War Two*. London, 1988; Tsouras P. *Disaster at D – Day: The Germans Defeat the Allies, June 1944*. London, 1994.

<sup>9</sup> Amis K. *The Alteration*. London, 1976. Сходная католическая утопия представлена в книге: Roberts K. *Pavane*. London, 1968. Неудивительно, что существуют и подобные художественные произведения, основанные на победе южан в Гражданской войне в США: Moore W. *Bring the Jubilee*. New York, 1953; Turtledove H. *The Guns of the South*. New York, 1992. Менее знакомы английскому читателю два фантастических произведения, в основе которых лежит победа республиканцев в Гражданской войне в Испании: Diaz-Plaja F. *El desfile de la victoria*. Barcelona, 1976; Torbado J. *En el día de hoy*. Barcelona, 1976. Благодарю доктора Брендана Симмса за эти ссылки.

<sup>10</sup> Вот несколько вопиющих примеров жанра: Wells H. G. *The Shape of Things to Come: The Ultimate Revolutions*. London, 1933; Churchill R. C. *A Short History of the Future*. London, 1955; Hackett J. *The Third World War: The Untold Story*. London, 1982; Clark W. *Cataclysm: The North – South Conflict*. London, 1984; Jay P., Stewart M. *Apocalypse 2000: Economic Breakdown and the Suicide of Democracy, 1989–2000*. London, 1987; Davidson J. D., Rees-Mogg W. *The Great Reckoning: How the World Will Change in the Depression of the 1990s*. London, 1992.

в устье Темзы. Возможно, теперь в колледжах Оксфорда учили бы трактовки Корана, а с кафедр обрезанным слушателям демонстрировались бы святость и истина откровения Мухаммеда<sup>11</sup>.

Само собой, это было лишь ироническое отступление, шутка Гиббона в сторону университета, который так малому его научил. Гораздо более амбициозным был французский писатель Шарль Ренувье, “Ухрония” которого (опубликованная ровно через сто лет после выхода первого тома “Упадка и разрушения” Гиббона) представляла собой не что иное, как “историческое и апокрифическое эссе о развитии европейской цивилизации не как она сложилось, а как могла бы вероятно сложиться”. Ренувье называл себя “своего рода Сведенборгом от истории – визионером, который представляет прошлое”, и описывал свою книгу как “смешение реальных фактов и воображаемых событий”<sup>12</sup>. Представленная в качестве завета антидетерминиста XVIII века, поддержанного и подпитанного его потомками, центральная гипотетическая идея “Ухронии” не слишком отличается от идеи Гиббона. Христианство не распространяется на Западе в результате незначительного изменения в ходе событий в конце правления Марка Аврелия. Христианство укореняется только на Востоке, в то время как на Западе еще тысячу лет царит классическая культура. Вследствие этого, когда христианство достигает Запада, оно становится лишь одной из многих религий, допускаемых в секулярной, по сути, Европе. Учитывая либеральные симпатии Ренувье, неудивительно, что книга имеет явный антиклерикальный посыл<sup>13</sup>.

В 1907 г. – через шесть лет после того, как Ренувье опубликовал второе издание “Ухронии” – наиболее склонный к литературству эдвардианский историк Д. М. Тревелиян написал (по предложению редактора *Westminster Gazette*) эссе под заголовком: “Если бы Наполеон выиграл битву при Ватерлоо”. Как и у Гиббона, альтернативное прошлое Тревелияна скорее ужасало, чем вдохновляло. В условиях господства Наполеона на континенте после победы при Ватерлоо Британия остается на “проторенной дорожке тирании и мракобесия”. Возглавленная Байроном революция жестоко подавляется, и целому поколению молодых радикалов приходится бороться за свободу в далеких южноамериканских пампасах. Наполеон наконец умирает в 1836 г. “врагом как старого режима, так и демократической свободы”. Короче говоря, без Ватерлоо никаких виггов<sup>14</sup>.

И все же, несмотря на пример Тревелияна, в этом жанре работало немного серьезных историков. Когда двадцать пять лет спустя Дж. К. Скуайр составил сборник подобных гипотетических эссе, в него вошли сочинения разношерстной группы из одиннадцати авторов, в основном писателей и журналистов<sup>15</sup>. Тон сборника Скуайра “Если бы случилось иначе” был самокритичным; книгу даже снабжал подзаголовок “отклонения в воображаемую историю”. Скуайр сразу подчеркнул, что не все авторы писали “в одинаковом ключе. Одни добавляли в свои спекуляции больше сатиры, чем другие”. И правда, некоторые их фантазии позволяют применить к нему замечание Джонсона, который сказал, что “не стоит верить всему, что написано на могильном камне”. К несчастью, введение Скуайра тоже стало своего рода надписью на могильном камне. Гипотетическая история “не слишком помогает”, равнодушно заключил он, “поскольку никто и ничего не может знать наверняка”. Неудивительно, что об этом сборнике скоро забыли навсегда.

<sup>11</sup> Gibbon E. *The Decline and Fall of the Roman Empire*. Vol. V (ch. III). London, 1994. P. 445.

<sup>12</sup> Renouvier Ch. *Uchronie (l'utopie dans l'histoire): Esquisse historique apocryphe du développement de la civilisation européenne tel qu'il n'a pas été, tel qu'il aurait pu être*. Paris, 1876; 2<sup>me</sup> éd, Paris, 1901. P. iii.

<sup>13</sup> Ренувье посвятил книгу “новым партизанам человеческой свободы, какой она была в том прошлом, которое было ею создано”. “Наше главное спасение, – провозгласил он, – решать за себя” (*ibid.*, p. 31).

<sup>14</sup> Trevelyan G. M. *If Napoleon had won the Battle of Waterloo // Trevelyan G. M. Clío, a Muse and Other Essays*. London, 1930. Pp. 124–135. Более свежий ответ французов см. в работе: Aron R. *Victoire à Waterloo*. Paris, 1968.

<sup>15</sup> Squire J. C. (Ed.). *If It Happened Otherwise: Lapses into Imaginary History*. London/New York/Toronto, 1932.

Можно ли сказать, что книга Скуайра на целое поколение дискредитировала саму идею гипотетической истории? Безусловно, некоторые ее главы помогают объяснить, почему столь многие историки считают гипотетическую историю не более чем салонной игрой. К примеру, эссе Филипа Гедаллы “Если бы в Испании победили мавры” основано на предположении, что в 1491 г. испанцы потерпели поражение при Ланхароне, в результате чего Гранадский эмират стал центром арабского Возрождения и империи XVIII века. (В этом альтернативном мире Дизраэли в итоге становится великим визирем Гранады.) Еще экстравагантнее эссе Г. К. Честертона “Если бы дон Хуан Австрийский [незаконнорожденный брат короля Испании Филиппа II] женился на Марии Стюарт”, которое представляет собой контрреформационный роман, где королевская чета искореняет кальвинизм в Шотландии, наследует английский престол и откладывает Реформацию на неопределенный срок. В эссе “Если бы Наполеон бежал в Америку” Г. А. Л. Фишер представляет, как Бонапарт пересекает Атлантику (вместо того чтобы сдаться противникам на борту “Беллерофонта”) и объединяется с Боливаром, чтобы освободить Латинскую Америку от папизма и монархии. Гарольд Николсон перенимает эстафету в эссе “Если бы Байрон стал королем Греции”, где Байрон выживает после лихорадки, которая убила его в Миссолонги в 1824 г., и в конце концов достигает нелепого апофеоза, становясь марионеточным недотепой-королем Георгом I Греческим (1830–1854). (Что характерно, самым долговечным достижением Байрона Николсон называет “расчистку вершины Акропольского холма от мусора и возведение на ней точной копии Ньюстедского аббатства”.) Эссе Милтона Уолдмана “Если бы Бут не попал в Линкольна” гораздо менее фривольно: в нем Линкольн изображается гротескно стареющим “загнанным аристократом”, дискредитированным мягким мирным договором, не удовлетворившим ни Север, ни Юг. Пребывая на ножах с собственной более мстительной партией в Конгрессе, он умирает в 1867 г., измотанный последней, обреченной на провал предвыборной кампанией<sup>16</sup>. Что же до эссе самого Скуайра под заголовком “Если бы в 1930 году обнаружилось, что произведения Шекспира на самом деле создал Бэкон”, о нем можно сказать лишь то, что оно вполне подошло бы для журнала *Punch* того времени (притянутая за уши развязка заключалась в том, что на самом деле это Шекспир создал все работы Бэкона). То же самое относится и к созданному Рональдом Ноксом пародийному выпуску *The Times* от 31 июня 1930 г., в котором задним числом датировалась успешная всеобщая забастовка<sup>17</sup>.

Нужно признать, что сборник “Если бы...” все же не лишен исторической ценности. Андре Моруа в своей главе избегает Великой французской революции, вполне правдоподобно предполагая, что Тюрго довел до конца успешную финансовую реформу, не только получив большую поддержку со стороны короля, но и одержав окончательную победу над Парламентом в 1774 г. и проведя реформу парижской полиции. Черчилль поднимает не менее интересные вопросы о победе южан в американской гражданской войне, предполагая победу конфедератов при Геттисберге. В эссе Эмиля Людвига утверждается – как многие полагали в то время, – что, если бы германский император Фридрих III не умер в 1888 г. (проведя всего девяносто девять дней на троне), немецкое политическое развитие могло бы взять более либеральный курс. И все же даже лучшие главы сборника “Если бы...” совершенно явно представляют собой продукт текущих политических и религиозных воззрений их авторов. В результате они сообщают нам гораздо меньше об альтернативах XIX века, чем, например, о господствовавших

<sup>16</sup> Благоклонный к Линкольну гипотетический анализ см. в работе: Lewis L. *If Lincoln Had Lived* // Raney M. L., Lewis L., Sandburg C., Dodd W. E. *If Lincoln Had Lived: Addresses*. Chicago, 1935. Pp. 16–35.

<sup>17</sup> Характер эссе передает список перечисленных законов: “Закон об обязательном трудоустройстве”, “Билль о цензуре в юмористических газетах” и “Билль о роспуске компаний Сити”. Хотя все это рисует довольно забавную картину советизированной Британии, современным читателям, вероятно, не покажутся удивительными такие вещи – которые Ноксу представлялись в той же степени невероятными, – как “Билль об ограничении максимального жалования директоров компаний”, озеро избыточного молока и “рационализация университетов” с целью замены предметов оксфордского гуманитарного курса инженерным делом.

в 1930-х гг. взглядах на Первую мировую войну. Так, Моруа представляет французскую опасность стабильно гарантированной объединенными англо-американскими силами (Британия победила в Войне за независимость США); Черчилль склоняется к такому же трансатлантическому союзу (Британия сумела помириться с Югом и одержала победу над Севером); а Людвиг поет старую немецкую либеральную песню об упущенной возможности для англо-германского союза (который, по его мнению, заключил бы Фридрих, проживи он дольше). Иными словами, вместо того чтобы рассматривать события прошлого с намеренным безразличием в отношении того, что известно о последующих событиях, каждый из авторов отталкивается от животрепещущего вопроса современности: как можно было избежать всех ужасов Первой мировой войны? В итоге их эссе представляют собой, по сути, ретроспективные бесплодные мечты. Любопытно, что один Хилэр Беллок представил гипотетическую реальность худшей, чем историческая. Как и Моруа, Беллок отменил Великую французскую революцию, но при этом ускорил упадок Франции в качестве великой державы, что позволило Священной Римской империи превратиться в европейскую федерацию, “простирающуюся от Балтики до Сицилии и от Кёнигсберга до Остенде”. Таким образом, когда в 1914 г. вспыхивает война с этой Великой Германией, поражение терпит Великобритания, которая становится “провинцией Европейского содружества наций”.

С теми же проблемами столкнулся и другой, более свежий сборник гипотетических эссе под названием “Если бы я был”<sup>18</sup>. Двое авторов предотвращают американскую Войну за независимость (один как граф Шелберн, другой как Бенджамин Франклин), еще один (как Хуарес) предотвращает Мексиканскую гражданскую войну, в 1867 г. даруя помилование императору Мексики Максимилиану, а еще один (как Тьер) избегает франко-прусской войны 1870–1871 гг. Оуэн Дадли Эдвардс (как Гладстон) решает ирландский вопрос, проводя аграрную реформу, вместо того чтобы вводить гомруль, Гарольд Шукман (как Керенский) избегает большевистского переворота, осторожнее относясь к Корнилову, а Луи Аллен (как Тодзио) выигрывает для Японии войну, атакуя Британскую и Голландскую империи вместо Перл-Харбора, что было несбыточной мечтой как для американцев, так и для японцев. Словно бы этого недостаточно, в 1952 г. Германия воссоединяется благодаря Аденауэру Роджера Моргана, Пражская весна не подавляется благодаря Дубчеку Филиппа Виндзора, а чилийская демократия сохраняется благодаря Альенде Гарольда Блейкмора. Проблема в том, что все это понятно лишь задним умом. В каждом случае аргументы основаны в большей степени на том, что мы знаем о последствиях случившегося, чем на вариантах и данных, которые на самом деле были доступны интересующим нас личностям в нужное время.

Еще одна слабость сборников Скуайра и Сноумена заключается в том, что в ряде глав единственная, часто банальная перемена приводит к судьбоносным последствиям. Хотя нет никаких логических причин, по которым банальности *не могут* приводить к судьбоносным последствиям, не стоит забывать об опасности редуктивного вывода, что банальность *и стала* причиной великого события. Теория о носе Клеопатры (предложенная Паскалем) представляет собой самое известное из множества подобных редуктивных объяснений: таким образом, страсть Антония к ее большому носу определяет судьбу Рима. Другая теория связывает падение Ричарда III с потерей гвоздя:

*Не стало гвоздя, пропала подкова,  
Не стало подковы, пропала и лошадь,  
Не стало лошади, пропал и всадник,  
Не стало всадника, пропала и победа,  
Не стало победы, пропало и королевство!*

<sup>18</sup> Snowman D. (Ed.). *If I Had Been... Ten Historical Fantasies*. London, 1979.

Та же логика лежит и в основе предположения Гиббона о том, что только подагра жившего в четырнадцатом веке османского султана Баязида не дала ему разграбить Рим,<sup>19</sup> и в основе убеждения закоренелого южанина, что Юг проиграл Гражданскую войну в США только из-за случайного обнаружения Специального приказа № 191 генерала Ли генералом Союзной армии Джорджем Макклелланом; и в основе утверждения Черчилля, что крупная война между Грецией и Турцией разразилась из-за укуса больной обезьяны, которая в 1920 г. убила короля Греции Александра I<sup>20</sup>. Подобно тому как эти редукативные объяснения подразумевают использование гипотез (нет обезьяньего укуса – нет войны), ряд гипотез из сборника Скуайра основан на редукативных объяснениях: что недостаточная жесткость Людовика XVI привела к Великой французской революции, что ранняя смерть Фридриха III вызвала Первую мировую войну и так далее. Точно так же книга Сноумена с начала до конца основывается на допущении, что ошибочные решения ряда “великих мужей” привели к серьезным кризисам вроде потери американских колоний, франко-прусской войны и большевистской революции. Как и в случае с другими редукативными объяснениями, перечисленными выше, порой это может быть правдой, однако необходимо не просто допустить это, но продемонстрировать наглядно, иначе объяснения просто не внушают доверия – а лежащие в их основе гипотетические исходы рушатся<sup>21</sup>.

Сродни этому и проблема юмора. Эссе в сборнике Скуайра задуманы быть в разной степени смешными. Однако чем смешнее они, тем неправдоподобнее. Это относится к большинству редукативных объяснений: они могут стать правдоподобнее, если сформулировать их иначе. “Если бы Антоний не задержался в Египте, он мог бы победить Цезаря”; “Если бы Ричард III выиграл битву при Босворте, он мог бы стабилизировать правление Йорков”; “Если бы Баязид решил напасть на Италию после победы в Венгрии, он вполне мог бы разграбить Рим”; “Не знай Союзные войска о намерениях Ли, они вполне могли бы потерпеть поражение при Энтитеме”; “Если бы король Греции не умер, войны с Турцией могло бы не случиться”. В каждом случае гипотеза становится не такой смешной, но при этом более вероятной. Подобным образом можно предположить и что, если бы всеобщая забастовка прошла успешнее, лейбористское правительство, возможно, продержалось бы дольше и достигло бы в межвоенный период большего, чем на самом деле. Гипотетическая история становится неправдоподобной, только когда ее представляют в качестве фальшивого выпуска *The Times*.

Как бы то ни было, сборник Скуайра закрепил за гипотетическими эссе характер остроумных наблюдений, бесплодных мечтаний и редукативных объяснений – а главное, академического юмора. В характерно хулиганской манере критикуя марксизм в работе “Свобода и организация” (1934), Бертран Рассел поддержал заданный Скуайром стандарт:

Вполне вероятно, что, если бы Генрих VIII не влюбился в Анну Болейн, Соединенных Штатов сегодня не было бы. Именно в результате этого события Англия порвала с папством, а следовательно, не признала передачу Америки Испании и Португалии в качестве папского подарка. Если бы Англия осталась католической, возможно, сегодняшние Соединенные Штаты стали бы частью Испанской Америки.

В том же шутовском ключе Рассел предложил “без лишних церемоний следующую альтернативную теорию о причинах промышленной революции”:

---

<sup>19</sup> Gibbon Ed. *Decline and Fall*. Vol. VI (ch. lxiv). P. 341.

<sup>20</sup> Churchill W. *The World Crisis: The Aftermath*. London, 1929. P. 386.

<sup>21</sup> Dray W. *Laws and Explanation in History*. Oxford, 1957. P. 103.

Индустриализм обязан современной науке, современная наука обязана Галилею, Галилей обязан Копернику, Коперник обязан Возрождению, Возрождение обязано падению Константинополя, падение Константинополя обязано миграции турок, миграция турок обязана засухе в Центральной Азии. Следовательно, причины исторических событий объясняет фундаментальная наука – гидрография<sup>22</sup>.

Эту традицию продолжает и сборник эссе “В поисках лошади”, опубликованный в 1984 г. Джоном Мэрриманом<sup>23</sup>. В него вошли три американских спекуляции: “Что, если бы Покахонтас не спасла капитана Джона Смита?”, “Что, если бы Вольтер эмигрировал в Америку в 1753 г.?” и “Что, если бы дочь губернатора Хатчинсона убедила его не отсылать «Дартмут» обратно?” (этот инцидент в итоге спровоцировал Бостонское чаепитие). Кроме того, там освещались две французские темы: “Что, если бы бегство из Варенна оказалось успешным?” и “Что, если бы линия Бурбонов не пресеклась в 1820 г.?”. Была и одна британская: “Что, если бы Вильгельм III потерпел морское поражение от Якова II?”. В целом, это была увеселительная история. Тон сборнику задавала глава, в которой предполагалось, что случилось бы, если бы Фидель Кастро подписал контракт с бейсбольной командой “Нью-Йорк Джайнтс”. В том же ключе было написано и абсурдное эссе Питера Гея, в котором утверждалось, что психоанализ восприняли бы серьезнее, если бы его основатель не был евреем. Реальную историческую ценность имело только эссе Конрада Рассела о 1688 г. под названием “Католический ветер”<sup>24</sup>.

В нем Рассел оживляет вопрос, полушутя поставленный Честертоном в сборнике Скуайра: можно ли было отменить английскую Реформацию, если бы попутный ветер дул для флота Якова II, а не для флота Вильгельма III? Вариация на ту же тему всего несколькими годами ранее была предложена Хью Тревор-Ропером, который рассуждал о неизбежности падения Стюартов в 1640-х и 1680-х, спрашивая: “Будь король мудрее [Карла I или Якова II], сумел бы он сохранить или реставрировать английскую авторитарную монархию, как случилось во многих европейских странах?” Если бы у Карла I было “еще несколько лет”, предложил Тревор-Ропер, старение его парламентских оппонентов могло сыграть против них. Если бы Яков, “как и его брат, ставил политику выше религии ... реакционизм Стюартов... мог бы укорениться ... И разве в таком случае ведущие виги Англии не склонились бы перед взошедшим солнцем, подобно ведущим гугенотам Франции?”<sup>25</sup> Недавно Джон Винсент развил эту тему, дополнив предложенную Ренувье “альтернативную” историю языческой Европы альтернативной историей католической Англии. Винсент выбрал более раннюю отправную точку, чем Рассел и Тревор-Ропер:

Испанское завоевание шестнадцатого века [включало в себя] относительно бескровное внедрение рациональности, но... новая стабильность налогообложения привела к единичным бунтам, таким как восстание норвичских иконоборцев. Важнее, что это лишило Англию возможности исполнить роль демилитаризованного сателлита. Во время Тридцатилетней

<sup>22</sup> Russell B. *Dialectical Materialism* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 294f.

<sup>23</sup> Merriman J. M. (Ed.). *For Want of a Horse: Chance and Humour in History*. Lexington, Mass., 1984. На самом деле лишь около половины эссе представляют собой настоящий гипотетический анализ.

<sup>24</sup> Russell C. *The Catholic Wind* // Merriman J. M. (Ed.). *For Want of a Horse: Chance and Humour in History*. Lexington, Mass., 1984. P. 103–107.

<sup>25</sup> Trevor-Roper H. *History and Imagination* // Pearl V., Worden B. and Lloyd-Jones H. (Eds.). *History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper*. London, 1981. Pp. 356–369. В той же лекции содержится более современный гипотетический анализ с перечислением “четырёх гипотетических обстоятельств”, которые могли бы сделать победу Германии в Западной Европе “окончательной” после 1940 г.: если бы не было Черчилля, если бы не было разведки “Ультра”, если бы Франко присоединился к странам “оси” и если бы Муссолини не начал вторжение в Грецию.

войны целых четыре иноземные армии боролись за господство над английской территорией, и в народной памяти навсегда осталось падение Бристоля.

После этой катастрофы Винсент представляет период “стабильности”, захватывающий значительную часть восемнадцатого века, однако он оканчивается новым бедствием: “падением государственного кредита после поражения во Французской войне и передаче Франции «естественной границы» по Темзе”.

Далее ситуация быстро ухудшается, так что девятнадцатый век становится закатом, а не расцветом Англии:

Последующее отречение от престола привело к вялотекущей гражданской войне между республикой джентри Гражданина Берка и Морскими радикалами, которая окончилась установлением протектората маршала Уэлсли и вхождением во французскую систему меркантилизма. Несмотря на равнодушное правительство, при Уэлсли лишенная возможности торговать Англия неуклонно шла к демографической катастрофе, которую обострила зависимость от единственного злака, поступавшего на зернохранилища стремительно идущей по пути индустриализации Франции. Пшеничная ржа и массовый голод “сырых лет” привели к катастрофической депопуляции. В политическом отношении провал французских попыток помощи спровоцировал подъем национализма с целью освободить так называемую “потерянную” французскую провинцию к югу от Темзы, однако движение резко сошло на нет после бегства графов-вигов на Мадейру и высылки Гладстона на остров Святой Елены.

Однако худшее было впереди:

Определяющим событием следующего столетия стала Германская война. Длительная научная отсталость Англии обусловила неизбежность того, что Германия первой создала атомную бомбу. Полное уничтожение Лидса и Шеффилда привело к быстрой капитуляции и хотя бы спасло Англию от вторжения. Можно сказать, что ни одно событие не оказало более серьезного влияния на вступление Англии в Европейский союз...<sup>26</sup>

В отличие от многих авторов, эссе которых вошли в сборники Скуайра и Мерримана, ни Рассела, ни Тревора-Ропера, ни Винсента нельзя обвинить в бесплодных мечтаниях. Их предположения также нельзя назвать до смешного редуцированными. В каждом случае делается серьезное историческое наблюдение о факторе английской “исключительности”. И все же их рассуждения остаются лишь предположениями, которые подкрепляются не более чем обрывками аргументов. Это блестяще сформулированные гипотетические *вопросы*, но не ответы.

Совершенно иначе гипотетическую аргументацию использовали сторонники так называемой новой экономической истории<sup>27</sup>. Первой серьезной попыткой применить количественную гипотетическую аргументацию стала работа Р. У. Фогеля о вкладе железнодорожного транспорта в американский экономический рост, в которой он построил модель экономического развития США без железных дорог, чтобы опровергнуть традиционное мнение, будто они стали ключевым фактором американской индустриализации. Согласно его расчетам, в отсутствие железных дорог ВВП США в 1890 г. был бы лишь немного ниже, чем на самом деле, хотя пло-

---

<sup>26</sup> Vincent J. *An Intelligent Person's Guide to History*. London, 1995. Pp. 39f. См. также его рассуждения о гипотетическом анализе на Pp. 45ff.

<sup>27</sup> См.: Fogel R. W. *The New Economic History: Its Findings and Methods* // *Economic History Review*, 2<sup>nd</sup> series. 19 (1966). Pp. 642–51; Hunt E. H. *The New Economic History* // *History* 53, 177 (1968). Pp. 3–13.

щадь обрабатываемой земли существенно сократилась бы<sup>28</sup>. Подобные методы были использованы Макклоски и другими историками при обсуждении относительного экономического спада в Британии после 1870 г.<sup>29</sup>

Здесь нет ни бесплодных мечтаний, ни юмора. Однако существуют серьезные возражения против подобных “клиометрических” аргументов. Чаще всего отмечается, что относительно скудная статистическая база XIX века не выдерживает построенных на ее основании экстраполяций и расчетов<sup>30</sup>. В отношении работы Фогеля об экономике рабства это возражение имеет также и политический подтекст: его утверждение, что, если бы не Гражданская война, экономически рабство могло бы быть сохранено, само собой, не получило популярности среди многих американских либералов<sup>31</sup>. Однако это в значительной степени относится и к его работе о железных дорогах. Лишь довольно смелые предположения о “связях с поставщиками и заказчиками” позволили Фогелю построить – пускай только на компьютере – модель Америки без железных дорог. Более серьезное возражение к его подходу заключается в том, что обсуждаемым гипотетическим сценариям недостает исторического правдоподобия – не потому что они редукативны или несерьезны, а потому что они анахронистичны. В то время, как правило, не вставал вопрос о том, строить ли железные дороги вообще, а дебаты сводились к обсуждению того, где именно их строить. Лучшее оправдание для Фогеля дает пояснение, что цель оценки “социальной экономии”, обеспеченной железными дорогами, не в том, чтобы создать правдоподобную альтернативную историю, а в том, чтобы проверить гипотезу о роли железных дорог в экономическом развитии. На самом деле никто не пытается “представить” Америку XIX века без железных дорог. Суть подобных гипотетических упражнений в том, чтобы показать, зачем были построены железные дороги, количественно оценив их (довольно значительный) вклад в экономику в целом. Подобным образом дебаты о вариантах экономической политики в последние годы существования Веймарской республики, как правило, показывают, что не было никаких политически жизнеспособных альтернатив дефляционным мерам, введенным канцлером Брюнингом в 1930–1932 гг.<sup>32</sup>

Иначе говоря, существует два типа гипотетических рассуждений, используемых историками: первые представляют собой продукт воображения, но (в целом) лишены эмпирической основы, в то время как вторые призваны проверить гипотезы (предположительно) эмпирическим способом, который предпочитает расчеты воображению. В рассуждениях первого типа вдохновение часто черпается в ретроспективном взгляде в прошлое или предлагаются редукативные объяснения, что лишает гипотезы правдоподобия. В рассуждениях второго типа часто делаются анахронистические допущения. Преодолеть эти трудности очень сложно – и это видно в революционной попытке Джеффри Хоторна совместить элементы обоих подходов<sup>33</sup>. В одном из своих предположительно “правдоподобных миров” он “вычитает” чуму из французской средневековой истории, представляет последующий спад рождаемости в сельскохозяйственных регионах Франции и итоговое ускорение темпов французской экономической и политической модернизации в XVIII веке. В другом мире он представляет, как сложилась бы

<sup>28</sup> Fogel R. W. *Railways and American Economic Growth: Essays in Interpretative Econometric History*. Baltimore, 1964. Те же методы применены к британской ситуации в работе: *Railways and Economic Growth in England and Wales 1840–1870*. Oxford, 1970.

<sup>29</sup> См.: Floud R. and McCloskey D. N. *The Economic History of Britain since 1700*. 2<sup>nd</sup> ed. Vol. II. Cambridge, 1994.

<sup>30</sup> Elton G. R. and Fogel R. W. *Which Road to the Past? Two Views of History*. New Haven, 1983.

<sup>31</sup> Fogel R. W. and Engerman S. L. *Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery*. Boston, 1974; Fogel R. W. *Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery*. New York, 1989. Противоположную точку зрения см. в работе: Gutman H. G. *Slavery and the Numbers Game: A Critique of 'Time on the Cross'*. London, 1975.

<sup>32</sup> Краткое изложение “дебатов Борхардта” см. в работе: Baron von Kruedener J. (Ed.). *Economic Policy and Political Collapse: The Weimar Republic, 1924–1933*. New York/Oxford/Munich, 1990.

<sup>33</sup> Эпохальные *Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences* Джеффри Хоторна (Cambridge, 1991).

история, если бы американцы не вторглись в Корею после Второй мировой войны, а в третьем он уводит вектор развития итальянского искусства позднего дученто и раннего треченто в сторону от инноваций, которые стали предвестниками Возрождения. Второй пример, пожалуй, наиболее правдоподобен, поскольку он имеет корни в американских дипломатических документах<sup>34</sup>. Другие “миры” Хоторна, однако, менее убедительны. Первый включает в себя допущение о связи средневековой демографии с экономическим и политическим развитием восемнадцатого века, которое покажется подозрительным даже самому закоренелому клиометру, а представление Хоторна об искусстве “невозрождения” практически всецело основано на сомнительных предположениях о динамике стилистических изменений в искусстве<sup>35</sup>. Что же до его менее проработанных набросков о возрождении Лейбористской партии в 1980-х гг. и сверхдержаве мавров в XX веке (фактически это продолжение эссе Гедаллы 1932 г.), так они пришлись бы как раз к месту в новом издании “Если бы...” Скуайра<sup>36</sup>.

Недостатки всех этих попыток подробного гипотетического анализа сами по себе вполне определенно объясняют, почему гипотетическая аналитика так и не прижилась. Задавая неправдоподобные вопросы или давая неправдоподобные ответы, гипотетическая история дискредитировала саму себя. И все же существуют, конечно, и другие причины, по которым столь малое количество историков предпринимает попытки рассуждать таким образом – или же, признавая возможность альтернативных исходов, оставляет гипотетическое подразумеваемым, своего рода подтекстом. Такие скрытые гипотетические рассуждения служат отличительной чертой множества недавних “ревизионистских” исторических трудов – неудивительно, что в них большинство ревизионистов ставят под вопрос ту или иную форму детерминистского толкования. Примером может служить по праву получившая признание “Современная Ирландия” Р. Ф. Фостера, в которой неоднократно подвергается сомнению националистическая убежденность в неизбежной независимости от “английского” правления. И все же Фостер ни разу не делает подразумеваемые альтернативы (к примеру, продолжение ирландского членства в унии, возможно в результате успешного принятия одного из ранних биллей о гомруле) явными<sup>37</sup>. То же самое можно сказать и о предложенной Джоном Чармли полемической критике Черчилля, в которой подразумевается, что Британскую империю можно было бы сохранить и после 1940 г. посредством альтернативных мер, таких как мир с Гитлером, но не говорится прямым текстом, каким образом этого можно бы было добиться<sup>38</sup>. Очевидно, эти историки воздержались от объяснения исторических альтернатив, которые подразумеваются в их книгах, не только из-за недостатков более ранних упражнений в гипотетической истории. Здесь замешано более серьезное недоверие к гипотетическому подходу – и это недоверие глубоко уходит корнями в философию истории.

### **Божественное вмешательство и предопределение**

Триумф исторического детерминизма не был неизбежным. Как предположил Герберт Баттерфилд, представителям дописьменных культур мир, вероятно, казался совершенно недетерминистическим. В жизни господствовали силы природы – одни ритмичные и предсказуемые (сезоны), а другие объяснимые только влиянием сверхъестественных сил:

Всякий раз, когда причины казались несоответствующими результатам  
или когда светское объяснение казалось неадекватным, когда случайность

---

<sup>34</sup> *Ibid.* Pp. 81–122.

<sup>35</sup> *Ibid.* Pp. 123–156.

<sup>36</sup> *Ibid.* Pp. 1ff., 10f.

<sup>37</sup> Foster R. F. *Modern Ireland, 1600–1972*. Oxford, 1988.

<sup>38</sup> Charmley J. *Churchill: The End of Glory*. Dunton Green, 1993.

или любопытное стечение обстоятельств рождало нечто, противоречащее ожиданиям, когда внешние факторы, обычно не принимаемые в расчет... обуславливали неожиданный поворот нарратива – во всех этих случаях человек... полагал, что в дело вмешался [Бог]. Это обращение к божественному вмешательству для объяснения неожиданностей иллюстрирует важность непредвиденных обстоятельств в истории; невозможность на ранних стадиях развития разглядеть все связи между событиями; катаклизмический характер происходящего; тот факт, что великие следствия порой рождаются из маленьких причин; страхи, что люди живут в мире, устройство которого они не понимают; человеческое ощущение, что это история происходит с человеком, а не человек творит историю; ощущение зависимости, которое люди, без сомнения, испытывают, когда они не в силах понять или подчинить себе поведение природы, загадку природных явлений... все это приводит людей к мысли, что жизнь в существенной степени зависит от воли богов...<sup>39</sup>

Божественная воля, таким образом, появилась в качестве объяснения последней надежды. Однако в политеистических религиях это часто сводилось к присвоению имен противоборствующим силам природы. Неудовлетворительный характер политеизма привел эпикурейцев к отрицанию всяческой божественной воли, что явилось, возможно, самым ранним проявлением философии антидетерминизма. Лукреций провозгласил существование бесконечной вселенной, состоящей из атомов, характеризующихся, по сути, случайной динамикой:

*Сами собою вещей семена в столкновеньях случайных,  
Всячески втуне, вотще, понапрасну сходяся друг с другом,  
Слились затем, наконец, в сочетанья такие, что сразу  
Всяких великих вещей постоянно рождают зачатки...  
Если как следует ты это понял, природа свободной  
Сразу тебе предстает, лишеной хозяев надменных,  
Собственной волею всё без участия богов создающей.  
Ибо, – святые сердца небожителей, в мире спокойном  
Жизнь проводящих свою и свой век безмятежно и ясно! –  
Кто бы сумел управлять необъятной вселенной, кто твердо  
Бездны тугие бразды удержал бы рукою искусной,  
Кто бы размеренно вел небеса и огнями эфира  
Был в состояньи везде согревать плодоносные земли  
Иль одновременно быть повсюду во всякое время,  
Чтобы и тучами тьму наводить, и чтоб ясное небо  
Грома ударами бить, и чтоб молнии метать, и свои же  
Храмы порой разносить, и, в пустынях сокрывшись, оттуда  
Стрелы свирепо пускать, и, минуя нередко виновных,  
Часто людей поражать, не достойных того и невинных?<sup>40</sup>*

Единственным отдаленно детерминистским элементом в воззрениях Лукреция была его примитивная теория энтропии: “всё дряхлеет и мало-помалу, / Жизни далеким путем истомленное, сходит в могилу”<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Butterfield H. *The Origins of History* / Ed. by Adam Watson. London, 1981. Pp. 200f.

<sup>40</sup> *Lucr. De rerum natura* 2.1059–1062, 1090–1104. Пер. Ф. Петровского.

<sup>41</sup> *Lucr. De rerum natura* 2.1173–1174. Пер. Ф. Петровского.

В связи с этим становление идеи о верховном, целеустремленном сверхъестественном вершителе судеб шло медленно. Хорошую иллюстрацию классического представления о “Судьбе” в этой роли можно найти во “Всеобщей истории” Полибия (написанной во II в. н. э.):

Ибо необычайность событий, о которых мы намерены говорить, сама по себе способна привлечь каждого, стар ли он, или молод, к внимательному чтению нашего повествования (πραγματείας). ... Особенность нашей истории и достойная удивления черта нашего времени состоят в следующем: *почти все события мира судьба направила насильственно в одну сторону и подчинила их одной и той же цели*; согласно с этим и нам подобает представить читателям в едином обозрении те пути, какими судьба осуществила великое дело.... И в самом деле, изобретая много нового и непрестанно проявляя свою силу в жизни людей, судьба никогда еще по настоящее время не совершала ничего подобного и не давала такого свидетельства своей мощи<sup>42</sup>.

Предположение Полибия, что “превратности” Судьбы на самом деле имели цель – триумф Рима, – стало важным историографическим шагом к более детерминистскому представлению о божественной воле. Подобная концепция изложена и в работе Тацита, хотя там божественной целью называется разрушение Рима: “Беспрецедентные страдания Рима явились достаточным подтверждением, что боги... жаждут нас покарать”. Для Тацита, как и для Полибия, исход “внешнего течения событий”, которое “по большей части зависит от случая”, имеет “смысл и причины”<sup>43</sup>.

Полибий упомянул и о другом сверхчеловеческом факторе – характерном для стоиков представлении о циклическом развитии истории, кульминационными моментами которой становятся периодические природные катастрофы:

Когда потоп, чума или неурожай... приводят к уничтожению значительной доли рода человеческого... все традиции и искусства в один миг исчезают, но с течением времени приходит новое поколение, рожденное от выживших в катастрофе, подобно тому как хлеб вырастает из семени в земле, и общественная жизнь возрождается<sup>44</sup>.

То же представление о цикличности истории, само собой, можно обнаружить в ветхозаветной Книге Екклесиаста: “Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться”<sup>45</sup>. Однако божественный замысел еврейского Бога был значительно сложнее замысла греко-римской Судьбы. В Ветхом Завете стремления Яхве излагаются в форме сложного исторического нарратива: сотворение мира, грехопадение, избрание Израиля, пророки, Вавилонское пленение и возвышение Рима. Новый Завет ранних христиан добавил к этому революционную концовку: вочеловечение, распятие и воскресение. Таким образом, еврейская и христианская история с самого начала характеризовались гораздо более детерминистской структурой, чем классическая историография: “Бог не просто направлял ход событий в мире, его вмешательство (и его глубинная цель) в представлении ранних христиан было *единственным, что придавало истории смысл*”<sup>46</sup>. В работах Евсевия (ок. 300 г. н. э.) события и люди, как правило, изображаются либо прохристианскими, а потому угодными Богу, либо антихристианскими, а потому обреченными<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> Polyb. 1.1–4. Пер. Ф. Мищенко. Курсив мой.

<sup>43</sup> Tac. Hist. 1.4. Пер. Г. Кнабе.

<sup>44</sup> Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 125.

<sup>45</sup> *Екклесиаст* 1:9.

<sup>46</sup> Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 207.

<sup>47</sup> Butterfield H. *The Origins of History*, ed. by Adam Watson. London, 1981. Pp. 176–80.

Однако не стоит преувеличивать детерминизм церковной истории. В сочинении Аврелия Августина “О граде Божьем” Бог не ангажирован в пользу христиан и не поощряет их, наказывая грешников, поскольку и праведники, и грешники были опорочены первородным грехом. Бог Августина всемогущ и всеведущ, но Он даровал человеку свободу воли, пускай эта воля и ослаблена первородным грехом, а следовательно, ангажирована в пользу зла. С теологической точки зрения, это ставит Августина между абсолютным манихейским фатализмом, отрицающим существование свободы воли, и пелагианским представлением, что свободная воля не может быть опорочена несовершенством первородного греха. С исторической точки зрения, это позволило ему совместить иудеохристианскую идею о предопределенном божественном замысле с относительно автономным представлением человеческой воли – что в существенной степени улучшило более ранние греческие и римские выкладки.

С практической точки зрения, это обеспечило относительно гибкий каркас для изложения христианской истории. И правда, практически та же гибкость наблюдается и более тысячелетия спустя в “Рассуждении о всеобщей истории” Боссюэ (1681). Как и у Августина, второстепенные причины имеют некоторую автономию, несмотря на центральную тему божественного замысла:

Длинная цепочка конкретных причин, которые рождают и убивают империи, зависит от декретов Божественного Провидения. Высоко в небесах Бог держит бразды правления всеми царствами. Все сердца в руках Его. Порой Он сдерживает страсти, порой Он выпускает их на волю, тем самым волнуя человечество. Таким способом Бог вершит свой грозный суд по непогрешимым законам. Именно Он творит грандиозные исходы посредством самых отчужденных причин, и Он наносит сокрушительные удары, эхо которых разносится столь широко. Именно так Бог правит всеми народами<sup>48</sup>.

Само собой, прямую линию от Августина до Боссюэ не провести. В эпоху Возрождения, к примеру, произошло возвращение к оригинальной классической концепции отношений между божественным замыслом и человеческой свободой действий. В исторических работах Макиавелли *Судьба* выступает верховным судьей удела человека, но при этом она капризна и женственна и может поддаться чарам “добродетельного” мужа. В цикличной, по сути, модели “идеальной бесконечной истории” Вико (поделенной на божественный, героический и гражданский периоды, следующие друг за другом) роль Провидения, напротив, характерно августинская. Свободная воля представляет собой:

чертог всех добродетелей и среди прочих справедливости... Но из-за порочности своей природы люди пребывают в тисках тирании любви к себе, которая заставляет их ставить на первый план личное благо... Следовательно, лишь божественное провидение позволяет [человеку] соблюдать эти законы и отправлять правосудие как члену семьи, государства и человечества в целом.

“Новая наука” Вико была, таким образом, “рациональной гражданской теологией божественного провидения... своего рода демонстрацией исторического факта провидения, поскольку именно провидение – без человеческого помысла и намерения, а часто и вопреки всем планам человека – подарило величайшему роду человеческому различные формы порядка”<sup>49</sup>. Можно провести параллель между подходом Вико и представлениями Арнольда Тойнби, определенно самого амбициозного из христианских историков двадцатого века, кото-

---

<sup>48</sup> Цит. по: Nagel E. *Determinism in History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 380. Курсив мой.

<sup>49</sup> Vico G. *The New Science* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 18f.

рый твердо верил в “свободу воли”, несмотря на приверженность подобной – и в глазах некоторых критиков фундаментально детерминистической – циклической теории о возвышении и упадке того, что он называл “цивилизациями”<sup>50</sup>.

Конечно, в рамках христианской теологии всегда существовала более детерминистическая тенденция (о которой прекрасно знал Августин). Раз Бог всеведущ, было вполне логично заключить, что Он уже определил, кого одарить своей благодатью. Однако это порождало проблему, которая впервые всплыла в дебатах о предопределении в девятом веке. Согласно Готшалку из Обре, если Бог предопределил, что одним уготовано спасение, он также должен был предопределить, что другим уготованы вечные муки; было логически неверно говорить, будто Христос погиб за вторую группу людей, поскольку в этом случае он погиб бы зря. Эта доктрина “двойного предопределения” сохранилась в учениях средневековых теологов, включая Григория из Римини и Уголино из Орвието, и снова всплыла в “Наставлении в христианской вере” Кальвина (хотя в статус основного принципа кальвинизма предопределение на самом деле возвели последователи Кальвина, такие как Теодор Беза). И все же не стоит и теперь приравнивать кальвинистское предопределение к историческому детерминизму. Для теологов дебаты о предопределении в основном касались загробной жизни и непосредственным образом не затрагивали события в мире людей.

Иными словами, представления о божественном вмешательстве в историю ограничились, но не искоренили идею о том, что люди имеют определенную свободу выбора между возможными вариантами действий. В этом отношении ни классическая, ни иудео-христианская теология не запрещали гипотетического анализа исторических вопросов, но представление о величайшем божественном замысле, само собой, не способствовало применению подобного анализа. Следовательно, если и существует связь между теологией и полномасштабным историческим детерминизмом, то она должна быть косвенной, опосредованной осознанно рационалистической философией восемнадцатого века. Это столетие часто ассоциируется с “секуляризацией” и упадком религии на фоне расцвета науки. Однако в историографии, как и в “Просвещении”, это разделение не столь четко, как кажется на первый взгляд. Существенная часть философии Просвещения, как заметил Баттерфилд, была лишь “деградировавшим христианством”, в котором “природа”, “разум” и другие туманные сущности просто заняли место Бога. Доктрины прогресса явно представляли собой секуляризованные адаптации христианской доктрины, но якобы построенные на эмпирической базе. Разница заключалась в том, что эти новые доктрины часто оказывались в своем детерминизме гораздо более ригидными, чем религии, от которых они произошли.

### **Научный детерминизм: материализм и идеализм**

Ньютоновское “открытие” гравитации и трех законов механики ознаменовало рождение поистине детерминистического представления о вселенной. После Ньютона казалось очевидным (как выразился Юм), что “непреклонная судьба определяет свободу и направление движения любого объекта... Следовательно, действия материи следует считать вынужденными действиями”. Вопрос о том, считать ли эти законы божественно предопределенными или нет, был и остается вопросом семантики. Юм упомянул “непреклонную судьбу”, а Лейбниц выразился иначе: “Мир творится по расчетам Бога”. Важно, что наука исключила элемент случайности из физического мира. В частности, Лейбниц подчеркнул, что всем феноменам присущи “сложные атрибуты” – что все взаимосвязано, – и это утверждение подразумевало неизменный

---

<sup>50</sup> Geyl P. and Toynbee A. *Can We Know the Pattern of the Past? – A Debate* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 308ff. О работе А. Тойнби *A Study of History* см: Marwick A. *The Nature of History*. 3<sup>rd</sup> ed. London, 1989. Pp. 287f.

характер прошлого, настоящего и будущего (за исключением прошлого, настоящего и будущего в других, воображаемых мирах). Отсюда оставался короткий шаг до ригидного детерминизма Лапласа, в представлении которого вселенная могла “делать только одно”:

Стоит даровать ей на мгновение разум, который способен постичь все силы, движущие природой и относительным положением существ, ее населяющих, – разум достаточно мощный, чтобы подвергнуть эти данные анализу, – и она бы подчинилась одной формуле движения величайших тел во вселенной и легчайших атомов; для нее не было бы никакой неопределенности, а будущее, подобно прошлому, лежало бы у нее перед глазами<sup>51</sup>.

Единственным ограничением подобного рода детерминизма была упомянутая Декартом и другими философами возможность того, что мысль и материя представляют собой различные субстанции, причем только вторая из них подчиняется детерминистическим законам. Модифицированную версию этого разделения можно найти в работе современника Лапласа Биша, который настаивал, что детерминизм на практике применим лишь к неорганическим сущностям, в то время как органические сущности “противостоят любому расчету... в отношении их феноменов невозможно ничего предвидеть, предсказать или рассчитать”<sup>52</sup>. Однако подобную характеристику можно опровергнуть одним из двух способов.

Первый требует простого объяснения человеческого поведения с материалистической точки зрения. Такие попытки совершались и раньше. Гиппократ, к примеру, объяснил “недостаток духа и мужества, наблюдаемый в жителях Азии ...” “малой амплитудой колебания сезонных температур на этом континенте”. Кроме того, он упомянул “фактор институтов” – в частности, деструктивное влияние деспотического правления – в своем объяснении восточного малодушия<sup>53</sup>. Именно такой тип объяснений подхватили и развили авторы Французского Просвещения, включая Кондорсе и Монтескье, который в работе “О духе законов” связал социальные, культурные и политические различия с климатическими и другими природными факторами. Монтескье дал характерное описание новообретенной уверенности в таких материалистических теориях: “Если конкретная причина вроде случайного исхода битвы разрушила государство, была и общая причина, которая обеспечила падение этого государства в результате единственной битвы”. Поскольку: “Слепой случай [не] рождает все те последствия, которые мы видим в мире”. В Британии основы строго экономического анализа общества заложило “Исследование о природе и причинах богатства народов” Адама Смита, которое подразумевало цикличность исторического процесса. Здесь тоже не “слепой случай”, а “невидимая рука” подталкивала людей к действию, заставляя их неосознанно работать на общее благо, даже преследуя собственные эгоистические интересы.

Подобный сдвиг в сторону детерминизма случился и в немецкой философии, но там он принял совершенно иную форму. Как и Декарт, Кант оставил в своей философии пространство для человеческой автономии, однако лишь в непостижимой параллельной вселенной “ноуменов”. Он настаивал, что в материальном мире “проявления воли в человеческих действиях определяются, как и все остальные внешние факты, универсальными законами природы”:

История, занимающаяся изучением этих проявлений, как бы глубоко ни были скрыты их причины, позволяет думать, что если бы она рассматривала игру свободы человеческой воли в совокупности, то могла бы открыть ее закономерный ход; и то, что представляется запутанным и не поддающимся

---

<sup>51</sup> de Laplace P. S. *A Philosophical Essay on Probabilities* / Trans. by F. W. Truscott and F. L. Emory. New York, 1902. P. 4.

<sup>52</sup> Hacking I. *The Taming of Chance*. Cambridge, 1990. P. 14.

<sup>53</sup> Butterfield H. *The Origins of History* / Ed. by Adam Watson. London, 1981. P. 135.

правилу у отдельных людей, можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие его первичных задатков. ... Отдельные люди и даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый по-своему разумению и часто в ущерб другим, преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались<sup>54</sup>.

В своей “Идее о всеобщей истории” Кант сформулировал задачу новой исторической философии: “Попытаться обнаружить *замысел природы*, стоящий за бессмысленным течением событий, и решить, возможно ли вообще изложить в соответствии с планом природы историю существ, которые действуют без всякого собственного плана”<sup>55</sup>.

Более всего из немецких философов над этой проблемой задумывался Гегель. Для Гегеля, как и для Канта, “человеческая свобода воли и даже внешняя необходимость” должны были подчиняться “высшей необходимости”. “Единственная цель философских рассуждений, – написал он во втором черновике своих «Лекций по философии истории», – [заключается в том, чтобы] устранить случайности... В истории нам следует искать общий план, итоговую цель мира. Мы должны привнести в историю убеждение и уверенность, что в царстве воли нет места случайностям”. Однако “высшая необходимость” Гегеля была не материальной, а сверхъестественной – во многом она сильно напоминала традиционного христианского Бога, особенно когда Гегель говорил о “вечной справедливости и любви, абсолютной и конечной целью которой является истина как таковая”. Гегель просто называл своего Бога “разумом”. Именно поэтому его исходной “предпосылкой” была “идея, что разум правит миром, а история в связи с этим представляет собой рациональный процесс”:

Нам следует признать истинность утверждения, что мировая история управляется генеральным планом... рациональность которого представляет собой... божественный и абсолютный разум; доказательство этого заложено в изучении мировой истории, которая является образом и воплощением разума... Каждый, кто посмотрит на мир рационально, обнаружит, что в нем есть рациональный аспект... Общее содержание мировой истории рационально и должно быть рациональным; божественная воля господствует в мире и достаточно сильна, чтобы определять общее содержание истории. Нам следует задаться целью изучить эту субстанцию, и ради этого мы должны обратиться к собственному рациональному сознанию<sup>56</sup>.

Эта в некотором роде зацикленная аргументация представляла собой второй ответ на декартово утверждение, что детерминизм неприменим к нематериальному миру. Гегель не намеревался отдавать предпочтение материализму: “Дух и направление развития представляют собой истинную сущность истории”, – настаивал он, в то время как роль “физической природы” была подчеркнута второстепенной по отношению к роли “духа”. Однако “дух”, по утверждению Гегеля, был в той же мере подвержен действию детерминистических сил, как и физическая природа.

---

<sup>54</sup> Kant I. *Idea of a Universal History from a Cosmopolitan Point of View* (1784) // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 22f., 29. См.: *Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане* // Кант И. *Сочинения в шести томах*. М., 1966. Т. 6. С. 5–23. Пер. П. А. Шапиро.

<sup>55</sup> Stanford M. *A Companion to the Study of History*. Oxford, 1994. P. 62.

<sup>56</sup> Hegel G. W. F. *Second Draft: The Philosophical History of the World* (1830) // Hegel G. W. F. *Lectures on the Philosophy of World History*. Cambridge, 1975. Pp. 26–30.

Что это были за силы? Гегель приравнивал то, что сам называл “духом”, к “идее о человеческой свободе”, тем самым утверждая, что исторический процесс можно понимать как приобретение этой идеей о свободе знаний о самой себе через последовательность “мировых духов”. Адаптируя сократовскую форму философского диалога, он постулировал наличие дихотомии в рамках национального духа (этот пример его особенно интересовал) – дихотомии принципиального и реального, общего и частного. Именно диалектические отношения между этими крайностями толкали историю вперед и вверх в своеобразном диалектическом вальсе – тезис, антитезис, синтез. Однако этот вальс – в лучших традициях Фреда Астера – танцевали, поднимаясь по лестнице. “Развитие, прогресс и восхождение духа к высшей форме самого себя... достигается обесцениванием, дроблением и разрушением предыдущего уклада реальности... Общее вырастает из частного и определенного и его отрицания... Все это автоматически встает по местам”.

Следствия модели Гегеля были во многом радикальнее следствий любой современной ему материалистической теории истории. В его схеме вещей, подталкиваемой противоречиями, в расчет не шли стремления и судьбы индивидов: они были “пустячным делом для мировой истории, которая использует индивидов только в качестве инструментов собственного развития”. Неважно, с какой несправедливостью сталкиваются индивиды, ведь “философия должна помочь нам понять, что реальный мир таков, каким он должен быть”. Ибо “действия людей в истории мира дают совсем не тот эффект, на который они сами рассчитывают”, а “ценность индивидов измеряется той степенью, в которой они отражают и представляют национальный дух”. В связи с этим “великими с точки зрения мировой истории становятся те индивиды... которые устремляются к высшей цели и делают ее своей”. Об этике вследствие этого не шло и речи: “Мировая история разворачивается на более высоком уровне, чем уровень существования этики”. И, само собой, “конкретным проявлением” “единства субъективной воли и общей цели” – “совокупностью этической жизни и реализации свободы” – был фетиш поколения Гегеля: (Прусское) государство<sup>57</sup>.

Можно сказать, что такими аргументами Гегель секуляризовал предопределение и перевел теологический догмат Кальвина в сферу истории. Индивид теперь потерял контроль не только над своим спасением после смерти, но и над своей судьбой на земле. В этом отношении рассуждения Гегеля представляют собой кульминацию теологической тенденции к радикальному детерминизму: пожалуй, это вполне логичное заключение при условии признания существования верховного божества, но Августин и остальные приложили немало усилий, чтобы его урезонить. В то же время было заметно по меньшей мере поверхностное сходство между гегелевской идеалистической философией истории и материалистическими теориями, которые развивались повсеместно. Гегелевская “хитрость мирового разума” была, возможно, более строгим властителем, чем “природа” Канта и “невидимая рука” Смита, однако все эти квазибожества играли аналогичные роли.

Гегельянец, вероятно, скажет, что синтез идеалистического и материалистического подходов был неизбежен. Однако в момент смерти Гегеля этот синтез представлялся бы не более чем отдаленной возможностью. Пускай британские современники великого идеалиста и построили свои модели политической экономии на неявной религиозной основе (как утверждают Бойд Хилтон и другие), но внешне и осознанно они продолжили работать в соответствии с эмпирическими и математическими принципами. Более того, отличительной чертой политической экономии, развивавшейся в начале девятнадцатого века, был пессимизм, идущий вразрез с относительным оптимизмом Гегеля, который разделял представление Канта о прогрессивном характере истории. Экономические законы Рикардо о снижении доходности сельского хозяйства, тенденции к понижению нормы прибыли и железный закон заработ-

<sup>57</sup> *Ibid.* Pp. 33–141.

ной платы, а также принцип перенаселения Мальтуса представляли экономику саморегулирующейся, самоуравновешивающейся и этически карательной системой – системой, в которой за ростом неизбежно следуют стагнация и спад. В связи с этим британская политическая экономия приходила к логическому выводу о циклическом, а не прогрессивном характере истории.

Не было особенной близости и между гегелевской идеалистической моделью исторического процесса и различными материалистическими теориями, развивавшимися примерно в то же время во Франции. В “Курсе позитивной философии” Конта провозглашалось выявление очередного “великого фундаментального закона”: “Что три наших ведущих концепции – каждая из ветвей нашего знания – последовательно проходят через три различных теоретических состояния: теологическое, или мнимое; метафизическое, или абстрактное; и научное, или позитивное”<sup>58</sup>. Тэн предложил другую “позитивистскую” триаду, в которую вошли среда, исторический момент и раса. Оба мыслителя гордились своими эмпирическими методами. Согласно Тэну, лучшим орудием историка следовало считать монографию: “Он погружает ее в прошлое, подобно ланцету, и извлекает обратно вместе с подлинными и исчерпывающими образцами. После двадцати-тридцати таких операций эпоху можно считать изученной”<sup>59</sup>. Иными словами, ничто не предвещало синтеза британской политической экономии с гегелевской философией, которой суждено было стать самой успешной из детерминистических доктрин.

В ряду других философов истории, творивших в девятнадцатом веке, особняком стоял Маркс, которого не слишком волновала свобода воли, что, вероятно, и обусловило его успех. Когда Джон Стюарт Милль призвал “поистине научных мыслителей объединить теориями факты всеобщей истории” и выявить “производные законы общественного порядка и общественного развития”, он вторил Конту и жившему ранее Канту. И все же, как и многие другие либералы XIX века, Милль неосознанно боялся скатиться от детерминизма к фатализму. В конце концов, либералу было непросто отказаться от свободы воли, то есть роли личности. Милль предложил решить проблему путем “пересмотра доктрины каузальности, неверно называемой доктриной необходимости”, чтобы теперь подразумевалось, что “только действия людей представляют собой совокупный результат общих законов и обстоятельств человеческой природы и их собственных специфических характеров; причем эти характеры, в свою очередь, являются следствием естественных и искусственных обстоятельств, которые сопровождали их образование, *но и в этих обстоятельствах должны учитываться их сознательные усилия*”. Однако при ближайшем рассмотрении это оказалось очень важным заключением. Более того, в отрывке, где напрямую задавались гипотетические вопросы, Милль открыто признал, что “общие причины имеют большое значение, но индивиды тоже провоцируют великие изменения в истории”:

Совершенно точно – насколько точно вообще может быть условное суждение об исторических фактах, – что без Фемистокла не была бы одержана победа при Саламине, а без нее где бы была вся наша цивилизация? Как все сложилось бы, если бы в битве при Херонее командовал Эпаминонд, Тимолеонт или даже Ификрат, а не Харес и Лисикл?

Милль одобрил и два других гипотетических предположения: что без Цезаря “театр... европейской цивилизации, возможно... изменился бы”, а без Вильгельма Завоевателя “наша история или наш национальный характер не стали бы такими, какие они есть”. После этого

---

<sup>58</sup> Comte A. *The Positive Philosophy and the Study of Society* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. P. 75.

<sup>59</sup> Цит. по: Berlin I. *The Concept of Scientific History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 28.

его заключение, что “сознательные усилия” индивида на коллективном уровне и в длительной перспективе подчиняются “закону человеческой жизни”, звучало неубедительно:

Чем дольше живет наш род... тем больше влияние прошлых поколений на настоящие и человечества в целом на каждого составляющего его индивида доминирует над остальными силами... растущий перевес коллективной деятельности вида над всеми мелкими мотивами постоянно подталкивает общую эволюцию расы на путь, который в меньшей степени отклоняется от конкретного, заранее заданного маршрута<sup>60</sup>.

Та же неуверенность заметна даже в работах Генри Томаса Бокля, который в своей “Истории цивилизации в Англии” (первый том опубликован в 1856 г.) словно бы ответил на данное Миллем описание “научной” истории. Здесь параллель с естественными науками была очевидна и несомненна:

В отношении природы были объяснены кажущиеся в высшей степени нерегулярными и непредсказуемыми события, которые, как выяснилось, происходят согласно определенным неизменным и универсальным законам... Если бы человеческие события были подвергнуты такому же анализу, мы вправе бы были ожидать подобных результатов... Каждое поколение демонстрирует регулярность и предсказуемость ряда событий, которые предыдущее поколение называло нерегулярными и непредсказуемыми: таким образом, развитие цивилизации демонстрирует тенденцию к усилению нашей веры в универсальность порядка, метода и закона.

Для Бокля изучение социальной статистики (объем которой только начал свой экспоненциальный рост, продолжающийся по сей день) должно было выявить “великую истину, что вся человеческая деятельность... на самом деле не беспорядочна, хотя и кажется таковой, но составляет определенную долю колоссальной системы всеобщего порядка... неуклонной регулярности духовного мира”<sup>61</sup>. И все же Бокль тоже беспокоился о свободе воли. Его модель каузальности, как и модель Милля, гласила, что “когда мы совершаем действие, мы совершаем его вследствие некоторого мотива или мотивов; эти мотивы представляют собой результаты некоторых предпосылок; а следовательно, если нам известны все предпосылки и все законы движения, мы можем с безукоризненной точностью предсказать все их непосредственные результаты”. Таким образом, “действия человека, которые определяются исключительно их предпосылками, должны иметь единообразный характер, иначе говоря, в точно таких же обстоятельствах они должны всегда давать точно такие же результаты”. Это было бы фатализмом чистой воды, если Бокль не добавил бы достаточно банальную оговорку: “Все изменения, которыми полнится история... должно быть, представляют собой плоды двойного действия; действия, которое оказывают внешние явления на разум, и другого действия, которое разум оказывает на явления”<sup>62</sup>.

Пожалуй, ни один писатель XIX века не бился над этой проблемой – противоречием между свободой воли и детерминистическими теориями истории – отчаяннее Толстого в заключительной главе “Войны и мира”<sup>63</sup>. Толстой высмеял робкие попытки известных историков, мемуаристов и биографов, а также идеалистов-гегельянцев объяснить мировые потря-

---

<sup>60</sup> Mill J. S. *Elucidations of the Science of History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 96–99, 104f.

<sup>61</sup> Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. Pp. 121ff., 127–132.

<sup>62</sup> Buckle H. T. *History and the Operation of Universal Laws* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 114f.

<sup>63</sup> Tolstoy L. *War and Peace*. Vol. II. London, 1978. Pp. 1400–1444.

сения 1789–1815 гг. и, в частности, французское вторжение в Россию и его итоговый провал – то есть исторический фон событий его великого романа. Роль божественного провидения, роль случая, роль ярких личностей, роль идей – все это он назвал недостаточным для объяснения масштабного движения миллионов людей, случившегося в наполеоновский период. В представлении Толстого “новая история должна бы была изучать не проявления власти, а причины, образующие ее... Если цель истории есть описание движения человечества и народов, то первый вопрос... следующий: какая сила движет народами?” Заимствуя терминологию Ньютона, он настаивал, что “единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов”. Он отвергал юридические определения отношений между правителем и подчиненными, особенно если эти определения подразумевали договорное делегирование власти от последних к первому:

Всякое исполненное приказание есть всегда одно из огромного количества неисполненных. Все невозможные приказания не связываются с событием и не бывают исполнены. Только те, которые возможны, связываются в последовательные ряды приказаний, соответствующие рядам событий, и оказываются исполнены... Всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием и, получая себе оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей... Что бы ни совершилось, всегда окажется, что это самое было предвидено и приказано... Исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события... Лицо это тем менее принимает участие в действии, чем более оно выражает мнения, предположения и оправдания совершающегося совокупного действия... Те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность; и наоборот.

Такая аргументация, похоже, завела его в своеобразный тупик: “В нравственном отношении причину события представляется власть; в физическом отношении – те, которые подчиняются власти. Но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина события находится ни в той, ни в другой, а в соединении обеих. Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины неприменимо”. Однако этим Толстой лишь хотел сказать, что достиг своей цели и вывел закон социального движения, сравнимый с законами физики: “Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются... Мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть потому, что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? мы не знаем; мы знаем только, что для совершения того или другого действия люди складываются в известное соединение и участвуют все; и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон”.

Само собой, недолгого размышления будет достаточно, чтобы разоблачить пустоту этого определения закона природы (которое гласит, что закон обуславливает сам себя, не поддаваясь нашему объяснению). Однако за этим следует еще более непостижимый пассаж, в котором Толстой обсуждает следствия этого “закона” для идеи о свободе воли индивида. Поскольку “если же есть хоть один закон, управляющий действиями людей, то не может быть свободной воли”. Таким образом, во имя детерминистической теории один из величайших писателей – чьи рассуждения о мотивации отдельных индивидов обуславливают несокрушимую мощь “Войны и мира” – решает опровергнуть существование свободы воли. Действительно ли он хотел сказать, что долгие мучения Пьера не сыграли никакой роли в его неизбежной судьбе? Похоже на то. Согласно Толстому, индивид в той же степени подчиняется толстовскому закону

власти, в какой он подчиняется ньютоновскому закону всемирного тяготения. Дело лишь в том, что человек, обладая иррациональным чувством свободы, отказывается признавать существование первого закона, признавая существование второго:

Узнав из опыта и рассуждения, что камень падает вниз, человек несомненно верит этому и во всех случаях ожидает исполнения узнанного им закона... Но узнав так же несомненно, что воля его подлежит законам, он не верит и не может верить этому... Если понятие о свободе для разума представляется бессмысленным противоречием... то это доказывает только то, что сознание не подлежит разуму.

Следствия этой двойственности для истории выражены в другом (гораздо более удовлетворительном в интеллектуальном отношении) толстовском законе: “В каждом рассматриваемом действии мы видим известную долю свободы и известную долю необходимости... Отношение свободы к необходимости уменьшается и увеличивается, смотря по той точке зрения, с которой рассматривается поступок; но отношение это всегда остается обратно пропорциональным”. Толстой заключает, что историк тем менее склонен признавать наличие свободы воли у объектов своего изучения, чем больше он знает об их “отношении к внешнему миру”, чем более давние времена он описывает и чем глубже его понимание “той бесконечной связи причин, составляющей неизбежное требование разума и в которой каждое понимаемое явление... должно иметь свое определенное место, как следствие для предыдущих и как причина для последующих”.

Интересно, что здесь Толстому приходится признать, что в исторических трудах “никогда не может быть полной необходимости”, поскольку “для того чтобы представить себе действие человека, подлежащее одному закону необходимости, без свободы, мы должны допустить знание *бесконечного* количества пространственных условий, *бесконечного* великого периода времени и *бесконечного* ряда причин”:

Свобода есть содержание. Необходимость есть форма... Все, что мы знаем о жизни людей, есть только известное отношение свободы к необходимости, то есть сознания к законам разума... Проявление силы свободы людей в пространстве, времени и зависимости от причин составляет предмет истории.

По сути, в этих строках нет ничего, что подразумевало бы строгий детерминизм. Однако далее он добавляет:

То, что известно нам, мы называем законами необходимости; то, что неизвестно, – свободой. Свобода для истории есть только выражение неизвестного остатка от того, что мы знаем о законах жизни человека... Для истории признание свободы людей как силы, способной влиять на исторические факты... есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил... Если существует один свободный поступок человека, то не существует ни одного исторического закона... Только ограничив эту свободу до бесконечности... мы убедимся в совершенной недоступности причин, и тогда вместо отыскания причин история поставит своей задачей отыскание законов... Трудность признания подчиненности личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности.

И все же совершенно непонятно, почему желательно ограничить осознаваемую историческими личностями свободу воли “до бесконечности” во имя детерминистических законов, которые ни один историк не в силах полностью постичь, не обладая стремящимся к бесконеч-

ности знанием. В целом, попытка Толстого сформулировать убедительную детерминистическую теорию истории обернулась грандиозным провалом.

Можно сказать, что лишь один человек преуспел в том, в чем потерпел неудачу Толстой (а с ним и многие другие). Теперь – когда она, очевидно, отжила свое – мы можем хотя бы поместить изложенную Марксом философию истории в надлежащий контекст, назвав ее наиболее убедительной из всех разновидностей детерминизма. Она явилась невероятно удачным синтезом гегелевского идеализма и политической экономии Рикардо: движущей силой диалектического исторического процесса в ней выступали не духовные противоречия, а материальные конфликты, в связи с чем (согласно “Немецкой идеологии”) “действительный процесс производства” заменил “мышление как таковое” в качестве “основы всей истории”. Прудон попытался высказать такую идею, Маркс же довел ее до совершенства, “поправив” Гегеля путем отказа от представления о поддерживаемой государством гармонии межклассовых отношений и разгромив Прудона в “Нищете философии”<sup>64</sup>. “История всех существовавших до сих пор обществ, – провозгласил опубликованный в 1848 г. Манифест Коммунистической партии в одном из самых растиражированных лозунгов девятнадцатого века, – есть история классовой борьбы”. Просто и броско.

Маркс позаимствовал у Гегеля не только диалектику; он также усвоил его презрение к свободе воли: “Люди творят свою историю, но не знают, что они ее творят”. “В исторической борьбе необходимо отличать... лозунги и пристрастия сторон от их истинных... интересов, их представление о себе от реальности”. “В процессе общественного производства средств производства люди вступают в определенные и необходимые отношения, которые не зависят от их воли”. “Свободны ли люди выбирать для себя ту или иную форму общества? Ни в коем случае”. Однако за Гегелем виднеется и тень Кальвина, а также других пророков. Поскольку в доктрине Маркса определенные индивиды – представители обездоленного и отчужденного пролетариата – сформировали новый класс избранных, которому суждено было свергнуть капитализм и унаследовать мир. В виде пророчества поистине библейской важности это было предсказано в “Капитале”:

Монополия капитала становится оковами того способа производства, который появился и расцвел вместе с ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление труда наконец достигают той точки, где они становятся несовместимы со своей капиталистической оболочкой. Эта оболочка разрывается. Колокол звонит по капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприруют<sup>65</sup>.

Нужно признать, что Маркс и Энгельс не всегда были столь категоричны, как большинство их последующих толкователей. Поскольку их более пессимистичные политические предсказания не воплощались в жизнь, им действительно приходилось время от времени смягчать детерминизм своих самых известных трудов. Сам Маркс признавал, что “«ускорение и замедление» «общей тенденции развития» может зависеть от «случайностей», в число которых входит и «случайный» характер... индивидов”<sup>66</sup>. Энгельсу тоже пришлось признать, что “история часто движется скачками и зигзагами”, что может неудачным образом приводить к возникновению “значительных препятствий в ходе рассуждений”<sup>67</sup>. В своей последующей корреспонден-

<sup>64</sup> См.: Rader M. *Marx's Interpretation of History*. Oxford, 1979.

<sup>65</sup> Маркс К. *Капитал*. Т. I. Гл. 32.

<sup>66</sup> Carr E. H. *What Is History?* 2<sup>nd</sup> ed. London, 1987. P. 101.

<sup>67</sup> Abrams P. *History, Sociology, Historical Sociology* // *Past and Present* 87 (1980). P. 15. См. также: Rader M. *Marx's Interpretation of History*. Oxford, 1979. Pp. 4, 8f.; E. P. Thompson. *The Poverty of Theory* // E. P. Thompson (Ed.). *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 307.

денции он пытался (как оказалось, тщетно) обосновать идею о простой причинно-следственной связи между экономическим “базисом” и социальной “надстройкой”.

Именно эта проблема занимала русского марксиста Георгия Плеханова. В своем эссе “К вопросу о роли личности в истории” он приводит гораздо больше аргументов против марксистского социально-экономического детерминизма, чем в его поддержку, хотя и пытается выплыть из моря более или менее убедительных примеров, в которых решающую роль сыграла именно личность. Если бы Людовик XV был человеком другого склада, признает Плеханов, территория Франции могла бы быть расширена (после войны за австрийское наследство), а экономическое и политическое развитие страны в результате могло пойти по другому пути. Если бы мадам Помпадур не оказывала столь сильного влияния на Людовика, возможно, некомпетентного Субиза не оставили бы главнокомандующим и война на море сложилась бы удачнее. Если бы в августе 1761 г. – всего за несколько месяцев до смерти императрицы Елизаветы Петровны – генерал Бутурлин атаковал Фридриха Великого в Штригау, возможно, он вынудил бы его спасаться бегством. А что, если бы Мирабо выжил или если бы Робеспьер случайно погиб? Что, если бы Бонапарт погиб в одной из своих ранних кампаний? Попытка Плеханова впихнуть все эти случайности и гипотезы обратно в смиренную рубашку марксистского детерминизма, мягко говоря, трещит по швам:

*[Индивид] служит одним из орудий... необходимости и не может не служить им как по своему общественному положению, так и по своему умственному и нравственному характеру, созданному этим положением. Это тоже сторона необходимости. Но раз его общественное положение выработало у него именно этот, а не другой характер, он не только служит орудием необходимости и не только не может не служить, но и страстно хочет и не может не хотеть служить. Это – сторона свободы и притом свободы, выросшей из необходимости, т. е., вернее сказать, это – свобода, отождествившаяся с необходимостью, это – необходимость, преобразившаяся в свободу.*

Таким образом, “характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, лишь тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения”. “Всякий талант, ставший общественной силой, есть плод общественных отношений”. Плеханов даже предвосхищает последующее утверждение Бьюри, что исторические случайности представляют собой продукт столкновения цепочек детерминистической каузальности, однако делает из этого гораздо более детерминистические выводы: “В какие бы замысловатые сплетения ни соединялись, мелкие психологические и физиологические причины, они ни в каком случае не устранили бы великих общественных нужд, вызвавших французскую революцию”. Даже если бы Мирабо прожил дольше, Робеспьер скончался бы ранее, а Бонапарта сразила бы случайная пуля,

*события все-таки пошли бы в том самом направлении... Окончательный исход революционного движения все-таки ни в каком случае не был бы “противоположен” действительному исходу. Влиятельные личности благодаря особенностям своего ума и характера могут изменять индивидуальную физиономию событий и некоторые частные их последствия, но они не могут изменить их общее направление, которое определяется другими силами... [поскольку] они сами существуют только благодаря такому направлению; если бы не оно, то они никогда не перешагнули бы порога, отделяющего возможность от действительности<sup>68</sup>.*

<sup>68</sup> Plekhanov G. *The Role of the Individual in History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959.

Плеханов не говорит, каким именно образом “развитие производительных сил и определяемые им взаимные отношения людей в общественно-экономическом процессе производства” могли бы нейтрализовать эффект австро-русской победы над Фридрихом Великим. Он не рассматривает и возможные последствия одного из предложенных им гипотетических исходов существования Франции без Наполеона: “Луи-Филипп сел бы на трон своих нежно любимых родственников не в 1830, а в 1820 г.”. Неужели это действительно не повлекло бы за собой никаких последствий, как подразумевает Плеханов?

Однако, как только марксистов начали одолевать сомнения, прорыв в иной сфере науки предоставил им новый жизненно необходимый инструмент обоснования их модели общественных сдвигов. Дарвиновское революционное заявление о теории естественного отбора было тотчас использовано Энгельсом в качестве новейшего доказательства теории классового конфликта<sup>69</sup> – хотя незадолго до этого то же самое сказали и теоретики расового конфликта, которые неправильно истолковали и исказили сложное (и порой противоречивое) послание Дарвина. Писатели вроде Томаса Генри Гексли и Эрнста Геккеля взяли более ранние расовые теории Гобино и модернизировали их, используя упрощенную модель естественного отбора, в которой конкуренция между отдельными организмами превратилась в грубое соперничество рас. На рубеже веков такие воззрения стали весьма типичны для большей части политических дебатов. В отсутствие какой-либо партийно-политической дисциплины, которая в некотором роде сдерживала социалистическое интеллектуальное развитие, “социальный дарвинизм” быстро начал принимать различные формы, выливаясь в псевдонаучные рассуждения теоретиков евгеники, самоуверенный империализм английского историка Эдуарда Фримена, веймарский пессимизм Шпенглера и в итоге, конечно же, в жестокие, антисемитские фантазии Гитлера, объединившие расизм и социализм в самую взрывоопасную идеологию двадцатого века. Но все эти теории объединял детерминистический (а в некоторых случаях и апокалиптический) вектор, а также безразличие к концепции свободы воли человека. Учитывая явное совпадение учений Маркса и Дарвина – пускай их интеллектуальные основы и были в высшей степени различны, – не стоит удивляться, что при жизни мыслителей и после их смерти столь широко распространилось представление о возможности существования детерминистических законов истории.

Стоит отметить, что не каждый в девятнадцатом веке принимал детерминизм. Работы Ранке и его последователей показали, что историки могут извлечь из мира науки совсем другие уроки. Ранке с недоверием относился к стремлению историков и философов прошлого соткать универсальные исторические законы из воздуха (или в лучшем случае позаимствовать их из трудов других историков и философов). Он полагал, что надежду понять универсум истории дают лишь поистине научные *методы* – то есть тщательное и доскональное изучение архивов. Именно поэтому он с самого начала призывал писать историю *wie es eigentlich gewesen war* (“такой, какой она на самом деле была”) и не раз подчеркивал уникальность событий прошлого и ушедших эпох. Ранке часто называют основателем школы “историзма”, которая призывала к анализу конкретных феноменов в соответствующем контексте. И все же это не предполагало полного отказа от детерминизма, поскольку в ряде важных аспектов Ранке оставался верен гегелевской философии. Возможно, в методологическом отношении направление его рассуждений и повернулось вспять – он двигался от частного к общему, а не наоборот, – но природа и функция универсума в трудах Ранке осталась однозначно гегелевской, как и склонность к возвышению прусского государства. Важнее всего, что идея, что историк должен описы-

Рр. 144–163. См.: *К вопросу о роли личности в истории* // Плеханов Г. В. *Избранные философские произведения в 5-ти тт.* Т. 2. М., 1956. С. 300–334.

<sup>69</sup> Stanford M. *A Companion to the Study of History*. Oxford, 1994. P. 284. Подобную аллюзию на Дарвина в исполнении Троцкого см. в работе: Carr E. H. *What Is History?* 2<sup>nd</sup> ed. London, 1987. P. 102: “На языке биологии можно сказать, что исторический закон исполняется посредством естественного отбора случайностей”.

вать прошлое таким, каким оно на самом деле было (или хотя бы каким оно было “по сути”), косвенным образом исключила возможность сколько-нибудь серьезного размышления о том, как *могло бы* быть. Подобно Гегелю, Ранке полагал, что история следует некому духовному плану. Может, у него и не было гегелевской уверенности относительно природы этого плана, но он не сомневался в его существовании – и конечной целью этого плана считал самосозидание прусского государства.

Даже те историки, которые принесли методологию Ранке в Англию, исключив из нее весь гегельянский подтекст, подчас основывали свои рассуждения на аналогичной телеологии. Вместо Пруссии Стаббс описывал ту самую английскую органическую эволюцию на пути к совершенству, которая обычно ассоциируется с трудами менее эрудированного Маколея<sup>70</sup>. Другой английский последователь Ранке, Актон, применил подобную концепцию к истории всей Европы. Подобно французским позитивистам, либеральные историки рубежа веков гордились тем, что их научные методы не только дают практические политические “уроки”, но и демонстрируют тот универсальный процесс “совершенствования”, который ранее так занимал Лекки. Более того, Актон считал саму историческую науку одним из двигателей, который помог Европе выбраться из средневековой тьмы, и это мнение он выразил поразительно германским языком: “*Всеобщий дух исследований и открытий... никуда не исчезал и выдерживал постоянный натиск реакционизма, пока ... наконец не возобладал. Этот... постепенный переход... от подчинения к независимости представляет собой феномен первостепенной важности, поскольку историческая наука была одним из его орудий*”<sup>71</sup>. Следовательно, историк не только описывал неизбежный триумф прогресса, но и вносил свой вклад в этот прогресс посредством его описания. Намеки на подобный оптимизм можно обнаружить и в более поздних работах других либеральных историков, включая сэра Джона Пламба<sup>72</sup> и сэра Майкла Ховарда<sup>73</sup>.

### Непредсказуемость, случайность и бунт против каузальности

Само собой, столь прогрессивный оптимизм, будь он вдохновлен хоть идеализмом, хоть материализмом, не мог остаться без оппонентов. В ярком и по праву знаменитом отрывке своего эссе “К вопросу об истории” Томас Карлейль провозгласил:

Наиболее одаренный человек может наблюдать и тем более записывать только *цепочку* собственных впечатлений; следовательно, его наблюдения... должны быть *последовательными*, в то время как события зачастую происходят одновременно... Это не столько действительная, сколько записанная история: на самом деле связь событий не столь проста, как связь родителя и ребенка, ибо всякое событие есть результат не одного, а всех остальных событий, прошлых или единовременных, и оно, в свою очередь, объединяется со всеми остальными событиями, чтобы породить новое; в этом и заключается непреходящий, неутомимый Хаос Бытия, где форма за формой рождается из бесчисленного множества элементов. И этот Хаос... историку надлежит описать и научно проанализировать, можно сказать, пронизав его отдельными нитями в несколько элей длиной! Действие как таковое нам следует изучать как разросшееся в ширину и в глубину, а не только

---

<sup>70</sup> Butterfield H. *The Whig Interpretation of History*. London, 1931.

<sup>71</sup> Lord Acton. *Inaugural Lecture on the Study of History* // McNeill W. H. (Ed.). *Essays in the Liberal Interpretation of History*. Chicago, 1967. P. 300–359. Курсив мой.

<sup>72</sup> Plumb J. H. *The Death of the Past*. London, 1969, в особенности pp. 17, 77f., 97–100, 129f.

<sup>73</sup> См. особенно: Howard M. *The Lessons of History* // Howard M. *The Lessons of History*. Oxford, 1991. P. 6–20.

в длину... поэтому весь нарратив, по природе своей, одномерен... Нарратив *линеен*, действие *трехмерно*. Как ничтожны наши “цепи” и цепочки “причин и следствий”... когда целое безмерно широко и глубоко, а каждый атом “связан в цепь” и соединен со всеми остальными!<sup>74</sup>

Еще более бескомпромиссное описание этого антинаучного подхода дал русский визави Карлейля, Достоевский. В “Записках из подполья” Достоевский с резкой критикой обрушился на рационалистический детерминизм и презрительно прошелся по убеждению экономистов, будто человек действует в собственных интересах, по цивилизационной теории Бокля и по законам истории Толстого:

Вы уверены, что тогда человек и сам перестанет *добровольно* ошибаться... что... на свете есть еще законы природы; так что все, что он ни делает, делается вовсе не по его хотенью... Все поступки человеческие, само собою, будут расчислены тогда по этим законам, математически, вроде таблицы логарифмов, до 108 000, и занесены в календарь... Все будет так точно исчислено и обозначено... Никак нельзя гарантировать... что тогда не будет, например, ужасно скучно... Конечно, от скуки чего не выдумаешь! Оттого, что человек, всегда и везде... любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода... Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит... Человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего... чтоб *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего.

В отношении истории это исключает идею прогресса. История может быть “великой” и “яркой”, но для “больного” альтер эго Достоевского она, по сути, остается однообразной: “Дерутся да дерутся, и теперь дерутся, и прежде дрались, и после дрались... Одним словом, все можно сказать о всемирной истории... Одного только нельзя сказать, – что благоразумно”<sup>75</sup>.

И все же даже Достоевский не подкрепил эту аргументацию в своих величайших сочинениях. В других своих произведениях (пожалуй, наиболее очевидно в “Братьях Карамазовых”) он вернулся к религиозной вере, словно одно лишь православие могло защитить общество от чумы анархии, которую он предсказал в кошмаре Раскольникова в самом конце “Преступления и наказания”. Само собой, мысль Карлейля тоже пошла в подобном направлении, однако при ближайшем рассмотрении его представление о божественной воле было гораздо ближе к позиции Гегеля (а возможно, и Кальвина), чем к православию Достоевского. Вторя Гегелю (хоть и изменяя его мысль), Карлейль считал “всеобщую историю” “по существу, историей великих личностей”: “Все, что было достигнуто в мире, есть внешний материальный результат ... мышления великих личностей, отправленных в этот мир; душа истории всего мира ... есть история этих ... живых фонтанов света ... этих естественных светил, сияющих даром небес”<sup>76</sup>. Вряд ли это можно было назвать шагом к антидетерминистической философии истории. Напротив, Карлейль просто отверг новый тип научного детерминизма ради старого божественного варианта:

---

<sup>74</sup> Carlyle Th. *On History* (1830) // Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 95.

<sup>75</sup> Достоевский Ф. М. *Записки из подполья*. Подполье. Гл. VII. Dostoevsky F. *Notes from Underground* / Trans. by A. R. MacAndrew. London, 1980. \_Pp. 105–120.

<sup>76</sup> Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 101.

История... смотрит и в прошлое, и в будущее, поскольку грядущая эпоха уже ожидает, невидимая, но вполне сформированная, *заранее определенная и неизбежная*, пока царит эпоха другая, и только комбинация их обеих полностью раскрывает значение каждой... [Человек] живет на стыке двух вечностей и... охотно вступает в сознательную связь... со всем будущим и всем прошлым<sup>77</sup>.

На самом деле решительную – пускай и довольно примитивную – критику детерминистических воззрений, включая даже атаквистический кальвинизм Карлейля, мы встречаем лишь на рубеже веков, в работах ряда английских историков, среди которых Бьюри, Фишер и Тревелиян. Насмешливый акцент на роли непредвиденных обстоятельств, характерный для оксбриджской историографии рубежа веков, пожалуй, в наибольшей степени был обусловлен антикальвинизмом<sup>78</sup>. Бьюри и Фишер предложили положить в основу новой исторической философии то, что Чарльз Кингсли назвал “таинственной способностью [человека] нарушать законы собственного бытия”. В предисловии к “Истории Европы” Фишер сказал прямо:

Люди умнее и образованнее меня выявили в истории сюжет, и ритм, и заранее определенный рисунок. Мне не дано постичь этих гармоний. Я вижу лишь одну чрезвычайную ситуацию, которая следует за другой, подобно тому как следуют друг за другом волны... [П] рогресс нельзя считать законом природы<sup>79</sup>.

В связи с этим Фишер призывал историков “распознавать в развитии человеческих судеб игру случайностей и непредвиденных обстоятельств” (при этом спорно, следовал ли он собственному совету в основной массе своих работ). Бьюри пошел дальше. В своем эссе “Нос Клеопатры” он разработал полноправную теорию о роли “случайности” – которую он определял как “значимое столкновение двух или более независимых цепочек причинно-следственной связи”, – сославшись на целый ряд важных, но непредвиденных исторических событий, включая и якобы вызванные вынесенным в заглавие носом. Фактически это была попытка примирить детерминизм с непредсказуемостью: согласно несколько обескураживающей формулировке Бьюри, “элемент случайного совпадения... помогает определить события”<sup>80</sup>. И все же ни Бьюри, ни Фишер не сделали следующего шага к подробному изучению альтернативных путей исторического развития, хотя цепочки первого и волны второго вполне могли бы столкнуться в других точках, что привело бы к другим последствиям. Бьюри обосновал свою позицию, предположив, что “с течением времени случайности... начинают играть все меньшую роль в человеческой эволюции”, поскольку власть человека над природой растет, а демократические институты ограничивают волю отдельных государственных деятелей. Это подозрительно напоминало рассуждения Милля и Толстого об упадке свободы воли.

В своем эссе “Клио: муза” Тревелиян пошел еще дальше и назвал “науку о причинах и следствиях в человеческих делах” “неверным применением аналогии физической науки”. Историк может “делать общие выводы и выдвигать предположения относительно причин и следствий”, однако его главная задача заключается в том, чтобы “рассказать историю”: “Несомненно... деяния [солдат Кромвеля] оказали определенное влияние, став одной из тысяч беспорядочных волн, которые подталкивают движение мира. Однако... их итоговый успех или

---

<sup>77</sup> *Ibid.* P. 91. Курсив мой.

<sup>78</sup> Эти легкомысленные настроения нашли отражение в сочиненном в 1905 г. лимерике Мориса Юэна Хэйра: Как-то раз человек вскрикнул: “Ай! Все предписано, как ни играй! Я иду по путям, По кривым колеям, Не автобус, а только трамвай!”

<sup>79</sup> Fisher H. A. L. *A History of Europe*. London, 1936. P. v.

<sup>80</sup> См.: Bury J. B. *Cleopatra's Nose* // Bury J. B. *Selected Essays* / Ed. by H. W. V. Temperley. Cambridge, 1930. Pp. 60–69.

провал... во многом определялся непрогнозируемой случайностью”. По мнению Тревельяна, классической иллюстрацией этого служили поля сражений:

Случай выбрал это поле из многих других... чтобы повернуть ход войны и решить судьбу народов и верований... Но из-за смелости какого-то храброго солдата или удачного наступления на очередную деревню гиблое дело отныне будут называть “волной неизбежности”, которую ничто не могло обратить вспять<sup>81</sup>.

В следующем поколении этот подход вдохновил существенную часть трудов другого великого историка А. Дж. П. Тейлора, который не переставал подчеркивать роль случайностей (“оплошностей” и “банальностей”) в дипломатической истории. Хотя Тейлор ясно давал понять, что “в задачу историка не входят рассуждения о том, как следовало поступить”,<sup>82</sup> он все равно с удовольствием намекал, как все *могло бы* сложиться.

Нельзя сказать, что этот упор на непредсказуемый характер некоторых, если не всех, исторических событий был уникален для британцев. Более поздние немецкие историки, включая Дройзена, считали задачей исторической философии “выявить не законы объективной истории, а законы исторического познания”. В гораздо большей степени, чем Ранке, Дройзен был озабочен ролью “аномалий, свободы воли человека, ответственности, гения... деяниями и следствиями человеческой свободы и особенностей личности”<sup>83</sup>. Эти рассуждения развил Вильгельм Дильтей, которого можно считать основоположником не только исторической теории относительности, но и ее принципа неопределенности<sup>84</sup>. Углубляя историзм, Фридрих Мейнеке выделил несколько уровней каузальности, от детерминистических “механических” факторов до “спонтанных деяний человека”<sup>85</sup>. Это разделение на уровни он применил и на практике, особенно явно в своей последней книге “Немецкая катастрофа”, где подчеркивались не только “общие” причины возникновения национал-социализма (катастрофического гегелевского синтеза двух великих идей), но и случайные факторы, которые привели Гитлера к власти в 1933 г.<sup>86</sup>

И все же существовали важные интеллектуальные ограничения, которые не позволяли полностью отказаться от детерминизма XIX века. В британском контексте очень важны были труды двух английских философов истории – Коллингвуда и Оукшотта, новых идеалистов, сочинения которых были во многом основаны на работе Брэдли “Предпосылки критической истории”. Коллингвуд известен своей критикой простого, позитивистского представления об историческом факте. С его точки зрения, все исторические свидетельства были лишь отражением “мысли”: “Историческая мысль есть... мысленное представление о мире полудостоверных фактов”<sup>87</sup>. Следовательно, историк в лучшем случае мог “восстановить” или “заново проиграть” мысли прошлого, испытывая при этом неизбежное влияние собственного уникального опыта. Неудивительно, что Коллингвуд отвергал детерминистические модели каузальности: “Выявляемый в истории план не предвосхищается в собственном откровении; история – это драма, но драма импровизируемая, совместно импровизируемая всеми действующими

---

<sup>81</sup> Trevelyan G. M. *Clio, a Muse and Other Essays*. London, 1930. Pp. 140–176, особенно pp. 157f.

<sup>82</sup> Taylor A. J. P. *The Origins of the Second World War*. 2<sup>nd</sup> ed. London, 1963.

<sup>83</sup> Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 142.

<sup>84</sup> Дильтей подчеркивал не только “относительность всевозможных человеческих представлений о взаимосвязи вещей”, но и неизбежное субъективное построение всех исторических свидетельств. См.: Ermarth M. *Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason*. Chicago, 1978.

<sup>85</sup> Meinecke Fr. *Causalities and Values in History* // Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. Особенно pp. 269, 273.

<sup>86</sup> Meinecke Fr. *Die deutsche Katastrophe*. Wiesbaden, 1949.

<sup>87</sup> Collingwood R. G. *The Nature and Aims of a Philosophy of History (1924–1925)* // *Essays in the Philosophy of History*: R. G. Collingwood / Ed. by W. Debbins. Austin, Texas, 1965. P. 44.

лицами”<sup>88</sup>. В отличие от сюжета романа “сюжет истории” представлял собой лишь “набор случайностей, которые признавались особенно значительными”<sup>89</sup>. Историки отличались от писателей, поскольку они стремились к созданию “истинных” нарративов, хотя нарратив каждого историка был не более чем “промежуточным отчетом о ходе наших исторических изысканий”<sup>90</sup>.

Особенно любопытны размышления Коллингвуда о природе времени, в которых он предвосхитил некоторые положения современной физики:

Время, как правило... представляется нам в форме метафоры, как поток или нечто пребывающее в постоянном и монотонном движении... [Однако] метафора потока ничего не значит, если у этого потока нет берегов... События будущего не ждут своей очереди осуществиться, подобно тому как люди в театре стоят в очереди в кассу: они вообще еще не существуют, а следовательно, не могут быть выстроены ни в каком порядке. Реально лишь настоящее; прошлое и будущее идеальны и только идеальны. Необходимо настаивать на этом, поскольку наша привычка придавать времени пространственную форму или воплощать его в пространстве, ведет к представлению, что прошлое и будущее в равной степени реальны... то есть, когда мы проходим по Хай-стрит мимо Куинз-колледжа, существуют также Магдален-колледж и Колледж Всех Душ.

И все же Коллингвуд пришел к выводу, что единственная цель историка заключается в “познании настоящего” и, в частности, “как все сложилось именно так, как есть”: “Настоящее реально, прошлое необходимо, будущее возможно”. “Вся история представляет собой попытку понять настоящее, воссоздавая условия, которые его определили”<sup>91</sup>. В этом отношении он просто признал поражение: история не могла не носить телеологического характера, поскольку историки были в состоянии писать только со своей наблюдательной позиции, под действием предрассудков собственного настоящего. Единственной возможной отправной точкой служил текущий момент. Это был новый, гораздо менее основательный тип детерминизма, однако и он исключал любое обсуждение гипотетических альтернатив.

Само собой, можно было отказаться от самого представления о существовании “определяющих условий” настоящего – для этого нужно было отказаться от каузальности как таковой. В межвоенный период этим увлеклись идеалисты и приверженцы лингвистической философии. Людвиг Витгенштейн просто отрицал “представление о существовании причинно-следственной связи” как “суеверие”. Бертран Рассел соглашался: “Закон каузальности... есть пережиток ушедшей эпохи, который, подобно монархии, выжил потому лишь, что его ошибочно считают безобидным”<sup>92</sup>. Согласился с этим и Кроче, который считал “концепцию причины” абсолютно “чуждой истории”<sup>93</sup>.

На первый взгляд это кажется глубоко антидетерминистическим утверждением. Тем не менее, как видно из предложенного Оукшоттом основательного описания идеалистической позиции, оно исключало гипотетический анализ столь же категорично, как и любая детерминистическая теория:

---

<sup>88</sup> Collingwood R. G. *Lectures on the Philosophy of History*, 1926 // *The Idea of History: With Lectures 1926–1928* / Ed. by J. van der Dussen. Oxford, 1993. Pp. 400ff.

<sup>89</sup> Collingwood R. G. *The Nature and Aims of a Philosophy of History (1924–1925)* // *Essays in the Philosophy of History: R. G. Collingwood* / Ed. by W. Debbins. Austin, Texas, 1965. P. 36f., 39f.

<sup>90</sup> Collingwood R. G. *Lectures on the Philosophy of History*, 1926 // *The Idea of History: With Lectures 1926–1928* / Ed. by J. van der Dussen. Oxford, 1993. Pp. 390f.

<sup>91</sup> *Ibid.* Pp. 363f., 412f., 420. Ср.: Marwick A. *The Nature of History*. 3<sup>rd</sup> ed. London, 1989. Pp. 293ff.

<sup>92</sup> Цит. по: Fischer D. H. *Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought*. London, 1970. Pp. 164f.

<sup>93</sup> Croce B. “Necessity” in *History*; in *Philosophy, Poetry, History: An Anthology of Essays* / Trans. by C. Sprigge. London/New York/Toronto, 1966. P. 558.

[М]ы оставляем исторический опыт всякий раз, когда... вычленим момент из исторического мира и рассматриваем его в качестве причины всего остального или хотя бы отдельной его части. Таким образом, каждое историческое событие необходимо, а ранжировать важность различных необходимостей не представляется возможным. Нет события, которое не имело бы значения и не вносило бы свой вклад. Если считать единичное, с натяжкой выделенное из общей массы событие (поскольку ни одно историческое событие не может быть надежно выделено из своей среды) определяющим, то есть служащим причиной и дающим объяснение, то весь последующий ход событий не становится... плохой или сомнительной историей, а перестает быть историей вообще... Это запрещают исходные предпосылки исторической мысли... Нет причины считать весь ход событий следствием одного предшествующего события, а не другого... Строгое представление о причинах и следствиях представляется... нерелевантным в исторической науке... Концепция причины... заменяется описанием мира косвенно связанных друг с другом событий, в котором нет места *лакунам*.

Хотя в этом и можно найти определенную философскую логику, на практике все выглядит гораздо менее удовлетворительно. Как выразился Оукшотт, “исторические сдвиги несут в себе собственное объяснение”:

Ход событий един, он так полон и целостен, что нет необходимости искать никакие внешние причины или поводы... Единство и непрерывность истории... есть... единственный принцип объяснения, согласующийся с остальными постулатами исторического опыта... Взаимосвязь *между* событиями всегда выливается в другие события и выявляется в истории путем подробного описания этих событий.

Таким образом, единственный метод, которым историк может улучшить описание события, заключается в предоставлении “большого числа подробностей”<sup>94</sup>.

Как поясняет Оукшотт, это не рецепт “тотальной истории”. Необходимо отделять “значимые взаимосвязи” от “случайных”, поскольку “исторические изыскания как попытка выстроить... последовательность значимо взаимосвязанных событий в ответ на исторический вопрос не предполагают возможности учитывать все незначительные связи”<sup>95</sup>. Но что же делает событие “значимым”? Здесь Оукшотт отвечает расплывчато, утверждая, что ответ историка на заданный вопрос должен подчиняться определенной внутренней логике. Цель состоит в том, чтобы “составить ответ на исторический вопрос, выстроив течение прошлого в качестве цепочки взаимосвязанных событий, сведения о которых до нас не дошли, путем выяснения прошлого дошедших до нас артефактов и высказываний”<sup>96</sup>. Казалось бы, здесь напрашивается структура нарратива, предложенная Коллингвудом, однако на самом деле для этой цели подходит любая четкая структура.

Идеалистическая критика детерминизма девятнадцатого века оказала существенное влияние на работу целого ряда практикующих историков, в частности Баттерфилда и Нэмира, которые положили глубокую враждебность к детерминизму (особенно в его материалистических вариациях) в основу своих исследований дипломатической истории и политических “структур”. Можно сказать, что ту же идеалистическую традицию продолжил и Морис Каулинг, который выделялся из общей массы своих кембриджских современников увлеченностью висо-

---

<sup>94</sup> Oakeshott M. *Experience and its Modes*. Cambridge, 1933. Pp. 128ff.

<sup>95</sup> Oakeshott M. *On History and Other Essays*. Oxford, 1983. P. 71.

<sup>96</sup> *Ibid.* P. 79. Курсив мой.

кой политикой и квазирелигиозной природой “общественной доктрины” XIX и XX веков<sup>97</sup>. В менее явной форме следы идеалистического антидетерминизма можно найти и в трудах Джеффри Элтона<sup>98</sup>.

Тем не менее обозначенная Оукшоттом теоретическая позиция была несовершенной. Разрушив детерминистическую модель каузальности, позаимствованную у естественных наук, Оукшотт фактически заменил ее другой, в равной степени неподатливой смирительной рубашкой. В его представлении историк должен был посвятить себя изложению значимых событий прошлого такими, *какими они кажутся* на основании сохранившихся источников. И все же процесс, в ходе которого историк отделяет значимые события от незначительных, или “случайных”, явным образом описан не был. Очевидно, что этот процесс должен быть субъективным. Историк наделяет смыслом те выжившие фрагменты прошлого, которые он находит в погоне за ответом на поставленный вопрос. Столь же очевидно, что при публикации его ответ должен быть в какой-то мере понятен остальным. Но кто выбирает изначальный вопрос? И кто решает, соотносится ли читательская интерпретация итогового текста с тем, что в него вложил автор? Более того, почему следует исключать гипотетические вопросы? Убедительных ответов на эти вопросы Оукшотт не дал.

### Научная история – продолжение

Примечательно, что для многих английских историков, склонявшихся к идеализму, был характерен политический консерватизм. Как показали конфликты, бушевавшие на английских исторических факультетах в 1950-х и 1960-х гг., существовала достаточно тесная связь между антидетерминизмом в исторической философии и антисоциализмом в политике. К несчастью для идеализма, победу в этих столкновениях в итоге одержала другая сторона.

Дело в том, что вопреки ожиданиям детерминизм девятнадцатого века не был дискредитирован теми ужасами, которые свершились во имя него после 1917 г. Марксизму удалось сохранить репутацию в основном потому, что национал-социализм повсеместно считали его полной противоположностью, а не близкородственной идеологией, в которой место класса занимал народ. Послевоенное возрождение марксизма также многим обязано стремлению итальянских, французских и английских марксистов отмежеваться не только от Сталина, но и от Ленина – а со временем и от самого Маркса. Здесь нет нужды подробно разбирать всевозможные теоретические модификации, предложенные такими мыслителями, как Сартр и Альтюссер, основная цель которых заключалась в том, чтобы высвободить Маркса из запутанных нюансов истории и вернуть его в безопасность гегелевских высот. Не стоит также углубляться в родственные, но более применимые в исторической науке теории Грамши, который объяснял несоответствие поведения пролетариата предсказаниям Маркса гегемоническими блоками, ложным сознанием и синтезированным согласием<sup>99</sup>. Достаточно сказать, что подобные идеи вдохнули новую жизнь в марксистский вариант детерминизма. Континентальные идеи медленно проникали в Англию, однако возрождение марксизма началось и здесь, вдохновленное в большей степени истинно английским чувством *noblesse oblige* – сентиментальностью элит по отношению к радикализму низших классов.

Пожалуй, самым неоригинальным из всех английских историков-социалистов был хроникер большевистского режима Э. Х. Карр. И все же его тезисы в защиту детерминизма оказа-

---

<sup>97</sup> См.: Bentley M. (Ed.). *Public and Private Doctrine: Essays in British History Presented to Maurice Cowling*. Cambridge, 1993, особенно *Prologue*, pp. 1–13.

<sup>98</sup> Elton G. R. *The Practice of History*. London, 1969. Особенно pp. 42, 57, 63–66.

<sup>99</sup> См. обзор в работе: Lears T. J. *The Concept of Cultural Hegemony: Problems and Possibilities* // *American Historical Review* 90 (1985). P. 567–593.

лись чрезвычайно весомыми – и, несомненно, останутся таковыми, пока кто-нибудь не напишет более удачную книгу со столь же притягательным названием, как его сочинение “Что такое история?”. Карр действительно пытался отмежеваться от строгого монокаузального детерминизма Гегеля и Маркса. Он утверждал, что сам является детерминистом лишь в том смысле, что верит, будто “все случившееся имеет причину или ряд причин и не могло произойти иначе, если бы не поменялся характер этой причины или причин”. Само собой, гибкость этого определения подразумевает принятие непредсказуемости хода событий:

На практике историки не считают события неизбежными, пока те не происходят. Они часто обсуждают альтернативные пути, доступные героям истории, допуская, что варианты были... В истории нет ничего неизбежного, за исключением единственного условия, которое гласит, что все могло сложиться иначе, только если бы иными были предшествующие причины.

В общем и целом это прекрасно. Однако Карр быстро добавляет, что задача историка заключается лишь в том, чтобы “объяснить, почему в итоге был выбран конкретный путь”, “объяснить, что случилось и почему”. “Проблема современной истории, – раздраженно замечает он, – заключается в том, что люди помнят время, когда все дороги были открыты, и затрудняются занять позицию историка, для которого они закрылись по принципу *fait accompli*”. Это не единственный случай, в котором Карр оказывается старомодным детерминистом. “Как нам найти в истории связанную последовательность причин и следствий, – спрашивает он, – как нам найти в истории хоть какой-то смысл, [если (как ему приходится признать)] случай в истории... играет какую-то роль?” Неприязненно кивая в сторону идеалистов (“определенных философских неясностей, углубляться в которые нет нужды”), Карр вслед за Оукшоттом решает, что нам следует выбирать причины в порядке их “исторической значимости”:

Из множества последовательностей причин и следствий [историк] выделяет те и только те, которые имеют историческую значимость; стандартом исторической значимости служит его способность вместить их в его картину рационального объяснения и толкования событий. Остальные последовательности причин и следствий следует отвергать как случайные не потому что для них характерен иной характер связи между причиной и следствием, а потому что сама последовательность не имеет значения. Историк не может ничего с ней поделать, она не поддается рациональному толкованию и не имеет значения ни для прошлого, ни для будущего.

Однако, в трактовке Карра, это просто становится новым вариантом гегелевского представления об истории как о рациональном – и телеологическом – процессе. “Суть работы историка заключается в том, – резюмирует он, – чтобы выводить на первый план те силы, которые одержали триумф, и отбрасывать на задний план все те, которые они поглотили”. Ибо “история, по сути, есть... развитие”. Можно легко проиллюстрировать эмоциональность этой позиции. В примечаниях ко второму изданию работы “Что такое история?” Карр *a priori* отверг “теорию, что вселенная появилась случайным образом в результате большого взрыва и обречена раствориться в черных дырах”, назвав ее “отражением культурного пессимизма эпохи”. Детерминист до мозга костей, он отрицал подразумеваемую “случайность” этой теории как “воцарение невежества”<sup>100</sup>.

Подобным образом к детерминизму вернулся и Э. П. Томпсон. Как и у Карра, попытка Томпсона найти компромисс между строгом антитеоретическим эмпиризмом Поппера и строго неэмпирической теорией Альтюссера была мотивирована стремлением обрести смысл – жела-

<sup>100</sup> *Ibid.* Pp. 88, 95–106, 126, 132, 164.

нием “осознать... взаимосвязь социальных феноменов [и] каузальности”<sup>101</sup>. Подобно Карру (и даже Кристоферу Хиллу), Томпсон инстинктивно протестовал против самой концепции непредсказуемости. Он жаждал “понимания рациональности (причинно-следственной связи и т. д.) исторического процесса... объективного знания, выявляемого в диалоге с определенными свидетельствами”. Однако предложенная Томпсоном “историческая логика” – “диалог между концепцией и свидетельствами, диалог между последовательными гипотезами с одной стороны и эмпирическими изысканиями с другой” – была не лучше описанного Карром отбора “рациональных” причин. По сути, это был просто перелицованный Гегель.

В свете этого неудивительно, что Карр и Томпсон категорически отвергали возможность гипотетической аргументации. И все же даже британские марксисты не обошлись без гипотетического анализа. Размышляя о жертвах сталинизма, сам Карр не смог не задаться вопросом, стали ли они неизбежным следствием оригинального большевистского проекта или же Ленин не допустил бы такой тирании, “проживи он двадцатые и тридцатые годы в добром здравии”. В примечаниях ко второму изданию Карр даже заметил, что Ленин, проживи он дольше, сумел бы “минимизировать и смягчить элемент принуждения... При Ленине переходный период, возможно, не прошел бы совершенно гладко, но ничего подобного бы не случилось. Ленин не позволил бы фальсификации данных, к которой столь часто прибегал Сталин”<sup>102</sup>. Точно такой же аргумент лежит и в основе последнего тома величайшего, пожалуй, труда британских марксистов – написанной Эриком Хобсбаумом четырехтомной всемирной истории после 1789 г. “Эпоха крайностей” во многих отношениях вращается вокруг глубочайшего, хоть и не заданного открыто гипотетического вопроса: что, если бы не существовало сталинистского Советского Союза, успешно индустриализованного (и тиранизированного) для победы над Германией и “спасения” капитализма в ходе Второй мировой войны?<sup>103</sup> Можно по-разному относиться к ответам, которые Карр и Хобсбаум дают на эти вопросы, но поразительно, что, несмотря на свою идеологическую приверженность детерминизму, оба они в итоге почувствовали себя обязанными эти вопросы задать.

К несчастью, более молодое поколение марксистских историков редко совершало такие отступления от строго телеологической аргументации. Вдохновленные Грамши, они в основном изучали, как притесняется и подвергается манипуляции рабочий класс, а с распространением феминизма (в рамках которого гендер заменил класс из марксистской модели конфликта) стали интересоваться притеснением женщин. Пропагандируемая новыми левыми “история снизу” могла бы окончательно опровергнуть мнение Карра, что историю творят победители (хотя в некотором роде вчерашние проигравшие сознательно изучаются в качестве сегодняшних или завтрашних победителей). Однако она лишь сильнее вцепилась в детерминистскую модель исторического развития.

Само собой, не все современные детерминисты были марксистами. Появление социологии как отдельного предмета изучения обусловило развитие ряда менее косных теорий, которым быстро нашли применение историки. Как и Маркс, интеллектуальные “отцы” социологии, Токвиль и Вебер, продолжали верить в возможность применения научного подхода к изучению общественных вопросов и в аналитическом отношении отделяли друг от друга экономику, социум, культуру и политику. Однако они не настаивали на существовании простой каузальной взаимосвязи, которая объединяла бы эти аспекты и неумолимо двигала историческое развитие вперед. В связи с этим в книге “Старый порядок и революция” Токвиль обсуждал влияние административных сдвигов, классовой структуры и идей Просвещения в дореволюционной

<sup>101</sup> E. P. Thompson (Ed.). *The Poverty of Theory and Other Essays*. London, 1978. P. 227. См. также: Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge, 1991. Pp. 87f.

<sup>102</sup> Carr E. H. *What Is History?* 2<sup>nd</sup> ed. London, 1987. Pp. 169f.

<sup>103</sup> Hobsbawm E. *The Age of Extremes*. London, 1994.

Франции, не называя ни один из этих факторов главным разрушителем “старого режима”. Более того, на основании своего передового исследования региональных административных записей он пришел к выводу, что общие принципы работы правительства не претерпели существенных изменений после революции. Интересовавшие его процессы – централизация правительства и экономическое выравнивание, в которых он видел тайную угрозу свободе, – были долгосрочными, они начались до событий 1790-х гг. и не прекращались еще долго после 1815-го<sup>104</sup>. Вебер пошел еще дальше. В известной мере социология была для него мировой историей за вычетом каузальности: по сути, это была типология общественных явлений<sup>105</sup>. Размышляя на исторические темы, он иллюстрировал их лишь выборочно и в общих чертах, как (например) в работе “Протестантская этика и дух капитализма”, в которой развитие западного капитализма сопрягалось с особенностями культуры (но не теологии) протестантских церквей<sup>106</sup>. Ключевое слово здесь “сопрягалось”, ведь Вебер всячески старался избежать мысли о наличии простой причинно-следственной связи между религией и экономическим поведением: “Я не намерен... заменять одностороннюю материалистическую каузальную интерпретацию истории и культуры столь же односторонней спиритуалистической интерпретацией. Обе они в равной степени допустимы...”<sup>107</sup> Интересовавшие Вебера исторические тенденции – рационализация и демистификация всех сфер жизни – казалось, развивались сами по себе.

Это низведение каузальности – возвышение структур над событиями, озабоченность долгосрочными, а не краткосрочными сдвигами – оказало серьезное влияние на развитие историографии двадцатого века. Пожалуй, наиболее очевидно это проявилось во Франции, где историки первыми начали систематически применять социологический подход. Итоговая цель так называемой школы “Анналов” заключалась в том, чтобы написать “тотальную историю”, то есть учесть все аспекты (или как можно больше аспектов) конкретного общества: его экономику, общественные формы, культуру, политические институты и так далее. В представлении Марка Блока история должна была стать сплавом различных научных дисциплин, где нашлась бы задача для всякой науки, от метеорологии до юриспруденции, а идеальный историк должен был освоить огромное множество прикладных специальностей<sup>108</sup>. Однако этот принцип целостности следовало применять и к изучаемым историками эпохам: как говорил склонный к высокопарности Бродель, историк школы “Анналов” должен “всегда желать постичь целое, всю совокупность общественной жизни... сводя воедино различные уровни, промежутки времени, всевозможные эпохи, структуры, стечения обстоятельств и факты”<sup>109</sup>.

Само собой, в отсутствие некоторого организующего принципа, некоторой иерархии важности такая история не поддается изложению (причины этого столетием ранее обозначил Маколей)<sup>110</sup>. На практике историки школы “Анналов” особое внимание уделяли географии и долгосрочным сдвигам, что лучше всего видно в работах Броделя. Называя себя “историком с крестьянскими корнями”, Бродель инстинктивно делал “необходимую поправку на связь любой социальной реальности с пространством, в котором она происходит”, то есть с “географией или экологией”<sup>111</sup>. “Говоря о человеке, мы подразумеваем группу, к которой он принад-

<sup>104</sup> de Tocqueville A. *L'Ancien Régime et la Révolution*. Paris, 1856.

<sup>105</sup> Roth G. and Schluchter W. *Max Weber's Vision of History*. Berkeley, 1979.

<sup>106</sup> Weber M. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. London, 1985.

<sup>107</sup> *Ibid.* Pp. 91, 183.

<sup>108</sup> Bloch M. *The Historian's Craft*. Manchester, 1992.

<sup>109</sup> Braudel F. *On History*. London, 1980. P. 76.

<sup>110</sup> “[История] не может быть совершенно и абсолютно истинной, поскольку, чтобы быть совершенно и абсолютно истинной, она должна фиксировать все мельчайшие детали мельчайших операций... [Однако], если бы история писалась именно так, Бодлианская библиотека не вместила бы и описания событий одной недели”. Цит. по: Stern Fr. (Ed.). *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. London, 1970. P. 76.

<sup>111</sup> Braudel F. *On History*. London, 1980. P. 51; Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge, 1991. Pp. 104f. О немецких корнях этого географического или экологического детерминизма см. в работе: Roth G. and Schluchter W. *Max Weber's Vision*

лежит: отдельные индивиды покидают ее, в то время как другие в нее вступают, но группа остается привязанной к конкретному пространству и знакомой территории. Она пускает там корни”<sup>112</sup>. За этим географическим детерминизмом – который весьма напоминал материалистические теории французского Просвещения – следовало характерное для Броделя возвышение длительного времени над коротким. В своей работе “Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II” он четко разделил три уровня истории: первой шла “история, развитие которой практически неуловимо, то есть история человека и его взаимодействия со средой, история, в которой все перемены происходят медленно, история постоянных повторений, бесконечных циклов”; на втором месте стояла “история... с медленными, но заметными ритмами”, история “групп и объединений... восходящего развития экономических систем, государств, обществ, цивилизаций и, наконец... военного дела”; а третья занимала “традиционная история”, история “отдельных людей” и “событий”, “поверхностных волнений, шапок пены, которые волны истории несут на своих сильных плечах. История кратких, быстрых, нервных колебаний”<sup>113</sup>. Последний уровень был самым несущественным. “Нам следует научиться с недоверием относиться к этой истории [фактов], – предупреждал Бродель, – прочувствованных, описанных и прожитых современниками, [поскольку ее интересует лишь] мимолетное... пролетающее над сценой, подобно светлячкам, которые едва успевают вспыхнуть, прежде чем снова раствориться во тьме, а часто и вовсе окунуться в пучину забвения”<sup>114</sup>. Призрачный дым события может “клубиться в сознании современников, однако он не вечен, а пламя и вовсе едва различимо”. По мнению Броделя, задача новой социологической истории заключалась в том, чтобы отодвинуть на задний план “стремительный, драматичный, напряженный бег нарратива [традиционной истории]”. “Короткое время” было “временем... журналиста”, “непостоянным и иллюзорным”<sup>115</sup>. И – тут же:

В итоге всегда побеждает длительное время. Уничтожение бесчисленного множества фактов – которые невозможно вписать в основной поток и которые в результате беспощадно отбрасываются в сторону, – бесспорно, ограничивает как свободу индивида, так и роль случая<sup>116</sup>.

Очевидно, что это пренебрежение “мелочами прошлого” – “деяниями нескольких князей и богачей” – перед лицом “медленного и могущественного марша истории” просто представляло собой новый тип детерминизма. Сам того не осознавая, Бродель даже вернулся к характерному языку детерминистов XIX века: снова, как и у Маркса, как и у Толстого, обычные люди “беспощадно отбрасывались в сторону”, попираемые сверхчеловеческими историческими силами. На это есть два очевидных возражения. Первое состоит в том, что, отрицая историю такой, какой она ощущалась и записывалась современниками, Бродель отрицал колоссальное количество исторических свидетельств – и даже экономическую статистику, которая была его хлебом насущным. “В долгосрочной перспективе, – говорил Кейнс, – мы все мертвы”. Именно поэтому нам, возможно, стоит изменить порядок предложенной Броделем иерархии историй. В конце концов, если наших предков в основном интересовало короткое время, разве вправе мы отрицать их интересы как мелочи жизни? Второе возражение связано с представлением Броделя о характере природных изменений. Признавая неощутимость долгосрочных

*of History*. Berkeley, 1979. P. 169f. Само собой, подобным образом мыслил и Монтеस्कье.

<sup>112</sup> Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge, 1991. P. 114.

<sup>113</sup> Braudel F. *The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II* / Trans. by S. Reynolds. London, 1972, 1973. Трехуровневая модель, очевидно, была в известной степени позаимствована у Мейнеке; в случае с предложенными Люсьеном Февром тремя факторами исторической каузальности – случайностью, необходимостью и идеей – заимствование более очевидно.

<sup>114</sup> *Ibid.* Vol. II. P. 901.

<sup>115</sup> Braudel F. *On History*. London, 1980. P. 27f.

<sup>116</sup> Цит. по: Roth G. and Schluchter W. *Max Weber's Vision of History*. Berkeley, 1979. P. 176.

экологических сдвигов и ритмическую, предсказуемую сущность климатических перемен, он закреплял в корне неверные представления об окружающем мире.

Но стоит отдать Броделю должное, ведь позднее он стал с меньшей категоричностью говорить о “длительном времени”. С развитием капитализма влияние ландшафта и окружающей среды, очевидно, существенно снизилось: “Главная привилегия капитализма... [это] возможность выбирать”<sup>117</sup>. В капиталистическом обществе было сложнее расставить приоритеты. Какая иерархия главнее, спрашивал самого себя Бродель в третьем томе “Цивилизации и капитализма”: иерархия богатства, иерархия государственной власти или иерархия культуры? “Ответ в том, что это может зависеть от момента времени, места и личности говорящего”<sup>118</sup>. Таким образом, субъективный элемент был хотя бы на какой-то срок спасен от объективных ограничений длительного времени: “Общественное время течет не в едином, ровном темпе, а в тысяче разных темпов, быстрых и медленных”<sup>119</sup>. Оставался хотя бы какой-то простор для существования “свободных, неорганизованных зон реальности ... за пределами жесткого каркаса структур”<sup>120</sup>.

Эти положения мог бы развить Марк Блок, проживи он дольше. Из его заметок к последующим, так и не написанным шестой и седьмой главам “Ремесла историка” становится ясно, что он гораздо лучше Броделя понимал проблемы каузальности, случая и того, что он называл “предвидением”<sup>121</sup>. В завершенных главах книги он дал понять, что у него нет времени на “псевдогеографический детерминизм”: “При взаимодействии с явлениями физического мира или с социальными фактами в реакциях человека не наблюдается четкости часового механизма, который всегда идет в одну сторону”<sup>122</sup>. Это само по себе поднимает гипотетический вопрос: что, если бы Блок пережил войну? Вполне вероятно, что французская историография в таком случае не погрязла бы в негласном детерминизме Броделя и более поздних представителей школы “Анналов”.

За пределами Франции социологическая история никогда не уделяла такого внимания природным факторам (возможно, потому что другие страны в девятнадцатом и двадцатом веках пережили гораздо более масштабные миграции населения и территориальные изменения). Тем не менее подобный детерминизм найти можно. В Германии он был отчасти связан с возрождением марксистских идей в 1960-х и 1970-х гг. Школа “социальной истории”, Иоанном Крестителем которой стал веймарский “диссидент” Эккарт Кер, предложила модель особого пути Германии, основанную на идее о несогласованности экономического развития и социальной отсталости.<sup>123</sup> С одной стороны, в Германии девятнадцатого века успешно сформировалась современная, индустриальная экономика. С другой стороны, ее общественные и политические институты по-прежнему находились под гнетом традиционной юнкерской аристократии. Порой это отклонение от марксистских принципов развития (то есть несостоявшийся переход к буржуазному парламентаризму и демократии, который успешно реализовался в Британии) объяснялось в характерных терминах Грамши: после 1968 г. большая часть немецкой историографии ссылалась на гегемонические блоки склонных к манипуляции элит. Позднее возрождение интереса к идеям Вебера привело к возникновению менее откровенного детерминизма, который наблюдается в последней работе самого уважаемого из социальных историков Ганса-Ульриха Велера. И все же, несмотря на попытки историков других стран

---

<sup>117</sup> Цит. по: Smith D. *The Rise of Historical Sociology*. Cambridge, 1991. P. 111.

<sup>118</sup> *Ibid.* P. 120.

<sup>119</sup> Braudel F. *On History*. London, 1980. P. 12.

<sup>120</sup> *Ibid.* P. 72.

<sup>121</sup> Bloch M. *The Historian's Craft*. Manchester, 1992. P. xxi.

<sup>122</sup> *Ibid.* P. 162.

<sup>123</sup> Историк-социолог Александр Гершенкрон применял эту модель не только к Германии, но и к другим европейским странам.

поставить под сомнение достоверность идеотипической взаимосвязи капитализма, буржуазного общества и парламентской демократии,<sup>124</sup> немецкая историческая наука по-прежнему характеризуется полным нежеланием рассматривать альтернативные исторические исходы. Социальные историки продолжают придерживаться мнения, что “немецкая катастрофа” имела глубокие корни. Даже историки-консерваторы проявляют относительно слабый интерес к роли случая: одни следуют заповедям Ранке, который призывал изучать лишь то, что случилось на самом деле; другие, например Микаэль Штюрмер, обращаются к более старому географическому детерминизму, где проблема по большей части, если не полностью, объясняется расположением Германии в центре Европы<sup>125</sup>.

Англо-американская историография тоже получила свою долю вдохновенного социологией детерминизма – как марксистского, так и скорее веберовского. Работа Лоуренса Стоуна “Причины Английской революции” примечательна своей опорой на другой тип трехслойной модели, элементами которой на этот раз стали предпосылки, катализаторы и поводы. В отличие от Броделя, Стоун не выстраивает их в порядке значимости: напротив, он намеренно избегает необходимости “решать, была ли неуступчивость Карла I более важной причиной революции, чем распространение пуританства”<sup>126</sup>. Однако в книге подразумевается, что сочетание этих и других факторов сделало Гражданскую войну неизбежной. Столь же осторожно высказывается и Пол Кеннеди в работе “Взлет и падение великих держав”, где постулируется лишь наличие “в долгосрочной перспективе значительной корреляции между производительными мощностями и доходностью, с одной стороны, и военной силой, с другой”<sup>127</sup>. Определенно, внимательное прочтение книги оправдывает этот примитивный экономический детерминизм. Однако суть аргумента, тем не менее, заключается в наличии каузальной связи между экономическими факторами и международным влиянием – возможно, экономический детерминизм здесь выражен слабо, но все же он существует. Были и другие попытки предложить великие теории на базе некоторой социологической модели – от марксистского труда Валлерстайна “Мир-система модерна” до более детальных “Источников социальной власти” Манна, “Кризисов политического развития” Грю и Бьена и “От гибкости к власти” Унгера<sup>128</sup>. Классическим примером великой теории во всей ее псевдонаучной красе служит “катастрофизм”, который сводит историю к семи “элементарным катастрофам”<sup>129</sup>. Поиски единой социологической теории власти, без сомнения, продолжатся. Пока неизвестно, прекратятся ли они в итоге как тщетные, подобно алхимическим поискам философского камня, или же будут продолжаться вечно, как поиск лекарства от облысения.

Альтернативой колоссальному упрощению, к которой в последнее время склоняются многие историки, служит узкая специализация. Само собой, Блок надеялся, что история будет черпать вдохновение из как можно большего количества научных дисциплин. На практике, однако, это обычно достигается за счет отказа от принципа целостности, на котором настаивают

<sup>124</sup> Blackbourn D. and Eley G. *The Peculiarities of German History*. Oxford, 1984.

<sup>125</sup> Немецкий историк не отважился бы спросить, что случилось бы с немецкой историей, если бы Гитлер не пришел к власти, но этот вопрос обсуждается в работе: Turner H. A. *Geissel des Jahrhunderts: Hitler und seine Hinterlassenschaft*. Berlin, 1989.

<sup>126</sup> Stone L. *The Causes of the English Revolution*. London, 1986. P. 58.

<sup>127</sup> Kennedy P. *The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*. London, 1989. Особенно Pp. xvi, xxiv – xxv.

<sup>128</sup> Wallerstein I. *The Modern World System*. 3 vols. New York/ London, 1974–1989; Mann M. *The Sources of Social Power*. 2 vols. Cambridge, 1986; Grew R. and Bien D. D. (Eds). *Crises of Political Development and the United States*. Princeton, 1978; Unger R. *Plasticity into Power: Comparative-Historical Studies on the Institutional Conditions of Economic and Military Success*. Cambridge, 1987.

<sup>129</sup> Woodcock A. and Davis M. *Catastrophe Theory: A Revolutionary Way of Understanding How Things Change*. London, 1991. В особенности pp. 120–146. В этой книге особенно примечателен трехмерный график, изображающий упадок и крах Римской империи (p. 138). Более ценная попытка связать современные представления о естественном отборе с культурным развитием была сделана в работе Runciman W. G. *A Treatise on Social Theory. II: Substantive Social Theory*. Cambridge, 1989. Особенно p. 449.

вали они с Броделем. В последние годы действительно наблюдается странное дробление научной истории на множество более или менее самостоятельных “интердисциплинарных” гибридов.

Это точно верно в отношении попыток внедрить психоанализ в историю. Конечно, сам Фрейд в душе был позитивистом, цель которого заключалась в том, чтобы сформулировать законы индивидуального бессознательного – именно поэтому он и призывал к “строгому и универсальному применению детерминизма к психической жизни”. Строгое применение его теорий в истории, однако, предполагает создание биографий. Даже попытки написать “психоисторию” социальных групп должны во многом полагаться на анализ индивидуальных свидетельств,<sup>130</sup> а такие свидетельства редко подлежат тому типу анализа, который Фрейд применял к своим пациентам, ведь он мог задавать им наводящие вопросы, а порой прибегать и к гипнозу. По этой причине в реальности влияние Фрейда на исторические сочинения обычно оставалось лишь косвенным: его терминология стала общеупотребительной (“бессознательное”, “подавление”, “комплекс неполноценности” и так далее), однако полной имитации его метода не происходило. Подобные проблемы возникают и при попытке применить к истории более современные формы бихевиористской психологии. Здесь тоже прослеживается детерминистическая тенденция, которая наиболее очевидно проявляется в попытках импортировать в историю теорию игр и теорию рационального выбора. Да, предположения о поведении человека, высказанные в ходе анализа дилеммы заключенного и ее возможных производных, часто лучше поддаются наблюдению, чем гипотезы Фрейда. Однако они не в меньшей степени детерминистичны – отсюда и тенденция психоисториков отрицать актуальные выражения намерения, если они не вписываются в их модель, используя старую, предложенную еще Грамши оговорку о “ложном сознании”. Теория игр, как и психоанализ, исключительно индивидуалистична. Историкам, которые хотят применить ее к социальным группам, под силу обойти эту проблему лишь одним способом – обратиться к дипломатической истории, где государства можно по старой доброй традиции очеловечить.<sup>131</sup>

Отчасти из-за этой тенденции к индивидуализации наибольшей популярностью среди историков пользуются антропологические модели коллективной психологии или “ментальности”<sup>132</sup>. В частности, влиятельных имитаторов приобрел подход Клиффорда Гирца – “насыщенное описание”, цель которого заключается в том, чтобы поместить набор “символических свойств” в понятную структуру<sup>133</sup>. В результате сформировалась новая культуральная история, в которой культура (определяемая весьма широко) более или менее освобождена от традиционной определяющей роли материальной базы<sup>134</sup>. По ряду причин – отчасти из-за специфики полевой работы антропологов, отчасти из-за дискредитации понятия “национальный характер” и отчасти из-за политической моды на “сообщества” – культура эта чаще бывает народной и местной, а не высокой и национальной. Классическими примерами “микроистории” служат работы “Монтаю” Эммануэля Ле Руа Ладюри и “Возвращение Мартена Герра” Натали Земон Дэвис<sup>135</sup>. Однако подобные техники применялись и к высокой культуре на национальном и даже на международном уровне – и особенного успеха в этом добился Саймон Шама<sup>136</sup>.

<sup>130</sup> Хороший пример условно фрейдистского подхода приводится в работе: Theweleit K. *Male Fantasies*. 2 vols. Cambridge, 1987, 1989.

<sup>131</sup> Хотя вполне вероятно, что марксист, применяя теорию игр, мог бы сделать то же самое с классами.

<sup>132</sup> Davis N. Z. *The Possibilities of the Past* // Rabb T. K. and Rotberg R. I. (Eds). *The New History: The 1980s and Beyond*. Princeton, 1982. P. 267–277.

<sup>133</sup> Geertz C. *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. London, 1993.

<sup>134</sup> Bouwsma W. J. *From the History of Ideas to the History of Meaning* // Rabb T. K. and Rotberg R. I. (Eds). *The New History: The 1980s and Beyond*. Princeton, 1982. P. 279–293.

<sup>135</sup> См.: Levi G. *Microhistory* // Burke P. (Ed.). *New Perspectives on Historical Writing*. Cambridge, 1991. P. 93–113.

<sup>136</sup> См. наиболее свежую и амбициозную работу: Schama S. *Landscape and Memory*. London, 1995.

Впрочем, эта новая культуральная история имеет свои очевидные недостатки. Прежде всего, можно возразить, что “микроистория” выбирает для изучения такие банальные предметы, что фактически скатывается в антикварианизм (хотя выбор темы для изучения обычно лучше оставлять самому историку, его издателю и книжному рынку). Более веское возражение связано с проблемой причинности. Антропологов, как и социологов, как правило, в большей степени интересуют структуры, чем процессы трансформации. Историки, заимствующие антропологические модели, из-за этого вынуждены обращаться к традиционным ресурсам собственной дисциплины при попытке объяснить, к примеру, упадок веры в колдовство<sup>137</sup>. Наконец, самое серьезное возражение заключается в том, что тенденция к “насыщенному описанию” ментальностей часто вырождается в безудержный субъективизм, игру в свободные ассоциации, лишь косвенно связанные с эмпирическими свидетельствами. Претензии такой истории на какую-либо научность представляются сомнительными.

### Нарративный детерминизм: почему бы не изобретать историю?

Отчасти из-за этого подкрадывающегося субъективизма и отчасти из-за характерной и неизменной озабоченности историков процессами трансформации, а не структурами в последние годы наблюдается возрождение интереса к форме нарратива<sup>138</sup>. Само собой, представление о том, что главная задача историка заключается в создании стройного нарратива о беспорядочных событиях прошлого, далеко не ново. И Карлейль, и Маколей полагали, что их роль заключается именно в этом, хотя и прибегали к разным терминам для ее описания. Луи Минк фактически перефразировал викторианскую идею, когда назвал “целью исторического познания” “изучение грамматики событий” и “преобразование скоплений фактов в последовательные цепочки”<sup>139</sup>. Это объясняет оживившийся интерес Хейдена Уайта и других историков к великим “литературным артефактам” прошлого столетия<sup>140</sup>. Это также объясняет, почему возрождению нарратива обрадовались некоторые традиционалисты, в частности те, кто (говоря упрощенно) приравнивает научную историю к клиометрическому перемальванию чисел<sup>141</sup>. Критикуя “новую” историю, Барзен подчеркнул субъективизм исторических сочинений и эхом повторил мнение Карлейля о сумбурном, в сущности, характере событий прошлого:

В то время как естествознание одно, историй много – они пересекаются или противоречат друг другу, вызывают споры или стоят особняком, бывают необъективны или двусмысленны. Всякий зритель переделывает прошлое в соответствии со своими способностями к исследованию и наблюдению, недостатки которых сразу же проявляются в его работе: на этот счет не возникает заблуждений. [Однако] наличие множества вариантов истории не делает все эти варианты ложными. Скорее, в этом отражается характер человечества... Нет смысла писать историю, если человек постоянно

---

<sup>137</sup> Thomas K. *Religion and the Decline of Magic: Studies in Popular Belief in Sixteenth and Seventeenth Century England*. London, 1971.

<sup>138</sup> Abrams P. *History, Sociology, Historical Sociology // Past and Present* 87 (1980). P. 3–16. См. также: Burke P. *The History of Events and the Revival of Narrative // Burke P. (Ed.). New Perspectives on Historical Writing*. Cambridge, 1991. P. 233–248.

<sup>139</sup> Mink L. O. *The Autonomy of Historical Understanding // Dray W. (Ed.). Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 182, 189.

<sup>140</sup> White H. *The Historical Text as Literary Artefact // Canary R. H., Kozicki H. (Eds.). The Writing of History: Literary Form and Historical Understanding*. Madison, 1978. См. также: Jameson Fr. *The Political Consciousness: Narrative as a Socially Symbolic Act*. London, 1981; Ricoeur P. *Time and Narrative / Trans. by K. McLaughlin and D. Pellauer*. London, 1984–1988.

<sup>141</sup> Barzun J. *Clio and the Doctors: Psycho-History, Quanto-History and History*. Chicago, 1974. Другая сторонница традиционализма, Гертруда Химмельфарб, недавно внесла путаницу в консервативную аргументацию, объединив количественные методы новой экономической истории с субъективными методами психоистории: Himmelfarb G. *The New History and the Old: Critical Essays and Reappraisals*. Cambridge, Mass., 1987.

стремится преодолеть ее основное свойство... показывать... непредсказуемый, “неструктурированный” беспорядок [прошлого], вызванный настойчивыми желаниями людей и упорно проявляющимися тенденциями... Практики, верования, культуры и деяния человечества кажутся несопоставимыми...<sup>142</sup>

По мнению Барзена, в этом заключался “здоровый смысл”: задача историка состояла не в том, чтобы быть обществоведом, а в том, чтобы “познакомить читателя” с “фактами” и “чувствами” – чтобы подпитать его “примитивную страсть к историям”. С другой стороны, возрождение нарратива пришлось по нраву и приверженцам моды, которые с нетерпением ждали возможности применить техники литературной критики к первичному “тексту” – письменным записям о прошлом. В связи с этим возрождение нарратива оказалось двуликим: с одной стороны, возник новый интерес к традиционным литературным моделям написания истории;<sup>143</sup> с другой стороны, для ее интерпретации начала использоваться модная терминология (деконструкция текста, семиотика и так далее)<sup>144</sup>. Постмодернизм добрался и до истории<sup>145</sup>, хотя постмодернисты просто перефразировали старые идеалистические постулаты, провозгласив историю “интерпретативной практикой, а не объективной, нейтральной наукой”. Замечая, что “история не показывается нам ни в какой иной форме, кроме дискурсивной”, а “факты, структуры и процессы прошлого неотделимы от форм документального представления... и составляющих их исторических дискурсов”, Джойс просто повторяет то, что Коллингвуд (лучше) выразил более полувека назад.

Возрождение нарратива сопряжено лишь с одной проблемой – и это непреходящая проблема применения литературных форм к истории. Литературные жанры в определенной степени предсказуемы: отчасти этим и объясняется их популярность. Часто мы читаем любимый роман или смотрим “классический” фильм, точно зная, чем все закончится. И даже если произведение нам незнакомо – и нет ни суперобложки, ни программы, где была бы описана суть истории, – мы все равно нередко можем понять, как примерно будет развиваться действие, поскольку знаем законы жанра. Если пьеса начинается как комедия, мы бессознательно исключаем возможность кровавой резни в концовке; имея дело с трагедией, мы допускаем обратное. Даже если автор намеренно держит читателя “в напряжении” – как в детективном романе, – исход в известной мере предсказуем: по закону жанра преступника ловят, а преступление раскрывают. Профессиональный писатель работает над книгой, держа концовку в голове, и часто намекает на нее читателю во имя иронии или чего-либо еще. Галли утверждал: “Наблюдение за историей... предполагает... некоторое смутное представление о направлении ее развития... и представление о том, как последующее зависит от предыдущего, поскольку, если бы не второе, первое не случилось бы или вряд ли произошло бы именно так, как произошло в итоге”<sup>146</sup>. То же самое заметил и Скрайвен: “Хорошая пьеса должна развиваться таким образом, чтобы мы... считали это развитие неизбежным, то есть могли бы его объяснить”<sup>147</sup>. Роман Мартина Эмиса “Стрела времени” делает очевидным то, что подразумевается во всех narra-

<sup>142</sup> Barzun J. *Clio and the Doctors: Psycho-History, Quanto-History and History*. Chicago, 1974. Pp. 101, 123, 152f.

<sup>143</sup> Davis N. Z. *On the Lane* // *American Historical Review* 93 (1988). P. 572–603.

<sup>144</sup> См., например: Spiegel G. M. *History, Historicism and the Social Logic of the Text in the Middle Ages* // *Speculum* 65 (1990). P. 59–86.

<sup>145</sup> См.: Scott J. W. *History in Crisis? The Others' Side of the Story* // *American Historical Review* 94 (1989). P. 680–692; Joyce P. *History and Postmodernism* // *Past and Present* 133 (1991). P. 204–209. Марксистскую критику см. в работе: Harvey D. *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Oxford, 1989.

<sup>146</sup> Gallie W. B. *Explanations in History and the Genetic Sciences* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 389f.

<sup>147</sup> Scriven M. *Truisms as Grounds for Historical Explanations* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 470f.

тивах: конец в нем в буквальном смысле предшествует началу<sup>148</sup>. Эмис излагает биографию нацистского врача с конца, притворяясь рассказчиком, который “знает что-то, с чем столкнуться не в силах... что будущее всегда сбывается”. Поэтому старик, который “поднимается” со смертного одра в американской больнице, “обречен” проводить эксперименты на узниках нацистских лагерей смерти и “покинуть” этот мир невинным младенцем. В литературе, перефразируя Эрнста Блоха, “истинный генезис есть не начало, а конец”: стрела времени всегда неявным образом показывает не в ту сторону. Эмис прекрасно разъясняет это, описывая в обратном порядке партию в шахматы, которая начинается с “беспорядка” и проходит “через моменты смятения и искажения. Но все разрешается... Все эти муки – они все разрешаются. Последней переставляется белая пешка – и восстанавливается идеальный порядок”.

Таким образом, писать историю по законам романа или пьесы – значит применять к прошлому новый тип детерминизма: телеологию традиционной формы нарратива. Хотя Гиббон и признавал непредсказуемость конкретных фактов, он изложил полтора тысячелетия европейской истории под в высшей степени телеологическим заглавием. Если бы он назвал свой великий труд “История Европы и Ближнего Востока в 100–1400 гг. нашей эры”, вместо того чтобы использовать заглавие “Взлет и падение Римской империи”, его нарратив лишился бы единого стержня. Подобное наблюдается и у Маколей: в его “Истории Англии” прослеживается очевидная тенденция описывать события семнадцатого века как предпосылки становления конституционного устройства века девятнадцатого. Эту форму телеологии Коллингвуд впоследствии счел неотделимой от истории: предположение, что настоящее всегда было конечным результатом (причем потенциально единственно возможным конечным результатом) избранного нарратива историка. Однако (как и в случае с художественными произведениями) написанная таким образом история вполне могла бы писаться и в обратном порядке, как обратная история Ирландии, которую некий “АЕ” представил в 1914 г.:

Малые наделы XIX и XX веков постепенно переходят в руки крупных землевладельцев, развитие XVIII века приводит к появлению зачатков самоуправления, религиозные конфликты и войны не ослабевают, пока *последний* англичанин Стронгбоу не покидает страну, зарождается культура, религиозной нетерпимости наступает конец после *исчезновения* Патрика около 400 года нашей эры, после чего начинается великая эпоха героев и богов<sup>149</sup>.

Это, как шутил сам АЕ, была просто националистическая “мифистория”, ошибочно пересказанная задом наперед.

### Сад расходящихся тропок

Прошлое – как реальные шахматы или любая другая игра – живет по другим законам. Его исход не предопределен. У него нет автора – ни божественного, ни какого-либо другого, – только герои, причем героев этих (в отличие от любой игры) всегда слишком много. Нет ни сюжета, ни неизбежного “идеального порядка”; только концовки, поскольку множество событий происходит одновременно – и одни продолжаются всего несколько мгновений, а другие длятся гораздо дольше человеческой жизни. И снова на это важнейшее различие между полноценной историей и отдельными историческими зарисовками указал Роберт Музиль. В “Человеке без свойств” есть глава “Почему история не изобретается?”, где Ульрих – символически помещенный в трамвай – размышляет о:

<sup>148</sup> Amis M. *Time's Arrow or The Nature of the Offence*. London, 1992.

<sup>149</sup> Foster R. F. *The Story of Ireland: An Inaugural Lecture Delivered before the University of Oxford on 1 December 1994*. Oxford, 1995. P. 31.

о математических задачах, не допускающих общего решения, но допускающих разные частные решения, через совокупность которых можно приблизиться к решению общему. Он мог бы прибавить, что задачу человеческой жизни он считал такой задачей. То, что называют эпохой, – не зная, надо ли понимать под этим столетия, тысячелетия или отрезок между школой и внуком, – этот широкий, беспорядочный поток состояний представлял бы тогда собою примерно то же, что хаотическая череда неудовлетворительных и неверных, если брать их в отдельности, попыток решения, из которых лишь при условии, что человечество ухитрится их обобщить, могло бы возникнуть верное и всеохватывающее решение... Какая все-таки странная штука история! ... Она выглядит ненадежной и кочковатой, наша история, если смотреть на нее с близкого расстояния, как лишь наполовину утрамбованная топь, а потом, как ни странно, оказывается, что по ней проходит дорога, та самая “дорога истории”, о которой никто не знает, откуда она взялась. Эта обязанность служить материалом для истории возмущала Ульриха. Светящаяся, качающаяся коробка, в которой он ехал, казалась ему машиной, где протряхивают по несколько сот килограммов людей, чтобы сделать из них будущее.... Сто лет назад они с похожими на эти лицами сидели в какой-нибудь почтовой карете, и бог знает что случится с ними через сто лет, но и новыми людьми в новых аппаратах будущего они будут сидеть в точности так же, – почувствовал он и возмутился этим беззащитным приятием изменений и состояний, беспомощным современничеством, безалаберно-покорным, недостойным, в сущности, человека мотанием от столетия к столетию; это было так, словно он вдруг восстал против шляпы какого-то странного фасона, напяленной ему на голову. Он произвольно поднялся и прошел пешком остаток пути<sup>150</sup>.

Ульрих отрицает возможность того, что “мировая история представляет собой историю, которая... родилась точно так же, как все остальные истории”, поскольку “ничего нового с авторами никогда не происходило и каждый списывал у другого”. Напротив, “история... родилась в основном без авторов. Она развивалась не из центра, а с периферии, начинаясь с незначительных мотивов”. Более того, она разворачивается совершенно хаотичным образом, подобно тому, как приказ шепотом передается по шеренге солдат, в результате чего “Сержант-майор, перейдите во главу шеренги” превращается в “Немедленно застрелить восемь солдат”:

Следовательно, если можно было бы переместить целое поколение современных европейцев младенческого возраста в Древний Египет пятитысячного года до нашей эры и оставить их там, мировая история началась бы снова в пятитысячном году. Некоторое время она бы повторяла саму себя, а затем по непостижимым причинам постепенно начала бы отклоняться от собственного курса.

Закон мировой истории, таким образом, заключался в том, чтобы “идти кое-как”:

Путь истории не похож, значит, на путь бильярдного шара, который, получив удар, катится в определенном направлении, а похож на путь облаков, на путь человека, слоняющегося по улицам, отвлекаемого то какой-нибудь тенью, то группой людей, то странно изломанной линией домов и в конце

<sup>150</sup> Музиль Р. *Человек без свойств* / Пер. С. К. Апта. Москва, 1994.

концов оказывающегося в таком месте, которого он вовсе не знал и достичь не хотел<sup>151</sup>.

Эти размышления так смущают Ульриха, что он (словно чтобы подтвердить свою правоту) сбивается с пути домой.

Словом, история и не рассказ, и не поездка на трамвае; историки, которые настаивают на том, чтобы излагать ее в форме повествования, могут с тем же успехом следовать примеру Эмиса и АЕ и писать ее задом наперед. Музиль утверждает, что на самом деле конец истории не известен, когда она только начинается: не существует ни рельсов, которые предсказуемо ведут ее в будущее, ни написанных черным по белому расписаний движения в конкретные места. Подобную мысль в рассказе “Сад расходящихся тропок” выразил и Хорхе Луис Борхес. Автор представляет созданный выдуманным китайским мыслителем Цюй Пэном роман – лабиринт, в котором “время постоянно разветвляется на бесконечное количество будущих времен”:

Мой взгляд остановился на фразе: “*Я оставляю разным (но не всем) будущим временам мой сад расходящихся тропок*”. Почти сразу я понял: “садом расходящихся тропок” был этот бессвязный роман, а слова “разным (но не всем) будущим временам” подсказали мне, что тропки расходятся во времени, а не в пространстве... Во всех художественных произведениях при наличии нескольких вариантов человек выбирает один, тем самым уничтожая остальные, но в романе Цюй Пэна он выбирает – одновременно – их все. Таким образом он создает разные будущие времена, разные времена, которые тоже, в свою очередь, разрастаются и разветвляются... В книге Цюй Пэна реальны все возможные исходы, и каждый из них дает начало новым ответвлениям.

Работа выдуманного переводчика продолжается:

“Сад расходящихся тропок” – величайшая загадка, или притча, которая повествует о времени... создавая неполный, но не ложный образ мира... В отличие от Ньютона и Шопенгауэра [Цюй Пэн] не верил в единое, абсолютное время. Он верил в бесконечную последовательность времен, в растущую, головокружительную сеть расходящихся, сходящихся и параллельных времен. Эта сеть времен, которые встречаются, ветвятся, обрываются или веками не ведают друг о друге, включает в себя *все* возможные времена...<sup>152</sup>

Вариации на эту тему появляются и в других работах Борхеса. В идеалистическом воображаемом мире, описанном в рассказе “Тлён, Укбар, Орбис Терциус”, “художественные произведения имеют единый сюжет со всеми мыслимыми перестановками”<sup>153</sup>. В рассказе “Лотерея в Вавилоне” выдуманная древняя лотерея превращается в универсальный образ жизни: начавшееся как “интенсификация случая, периодическое вливание хаоса во вселенную” становится бесконечным процессом, в котором “нет окончательных решений, поскольку все они разветвляются, рождая другие”. “Вавилон есть не что иное, как бесконечная игра случая”<sup>154</sup>. В рассказах “Вавилонская библиотека” и “Заир” метафора меняется, но развивается та же тема.

---

<sup>151</sup> Музиль Р. *Человек без свойств* / Пер. С. К. Апта. Москва, 1994.

<sup>152</sup> Borges J. L. *The Garden of Forking Paths* // Borges J. L. *Labyrinths: Selected Stories and Other Writings* / Ed. by D. A. Yates and J. E. Irby. Harmondsworth, 1970. Pp. 50ff.

<sup>153</sup> Borges J. L. *Tlo'n, Uqbar, Orbis Tertius* // Borges J. L. *Labyrinths: Selected Stories and Other Writings* / Ed. by D. A. Yates and J. E. Irby. Harmondsworth, 1970. P. 37.

<sup>154</sup> Borges J. L. *The Lottery in Babylon* // Borges J. L. *Labyrinths: Selected Stories and Other Writings* / Ed. by D. A. Yates and J. E. Irby. Harmondsworth, 1970. Pp. 59ff.

Подобные образы можно найти и в поэме Малларме “Бросок игральных костей”<sup>155</sup>, и в стихотворении Роберта Фроста “Другая дорога”:

*Еще я вспомню когда-нибудь  
Далекое это утро лесное:  
Ведь был и другой предо мною путь,  
Но я решил направо свернуть –  
И это решило все остальное*<sup>156</sup>.

Следствия этого историку очевидны. Это признал даже Скрайвен:

[В] истории, если учитывать лишь данные, доступные в каждый конкретный момент, существует множество возможных последующих поворотов судьбы, ни один из которых не показался бы нам необъяснимым... Неизбежность видна лишь при ретроспективном взгляде... и неизбежность детерминизма скорее пояснительная, чем предсказательная. Следовательно, наличие причин для каждого события не ограничивает свободу выбора между будущими альтернативами... Нам пришлось бы... отказаться от истории, если бы мы хотели уничтожить весь элемент неожиданности<sup>157</sup>.

### **Хаос и конец научного детерминизма**

Можно провести явную (и далеко не случайную) параллель между критикой нарративного детерминизма со стороны Музиля, Борхеса и других писателей и критикой классического детерминизма Лапласа со стороны ученых двадцатого века. К несчастью, историки, как правило, пренебрегают этим (как Э. Х. Карр сделал с теорией о черных дырах) или просто неправильно это понимают. В итоге великое множество философов истории, которые на протяжении этого века спорили, считать ли историю “наукой”, судя по всему, так и не поняли, что их представление о науке есть не что иное, как пережиток XIX века. Более того, если бы они внимательнее отнеслись к тому, чем на самом деле занимались их коллеги-ученые, они бы удивились – а возможно, и обрадовались, – обнаружив, что задавали неверный вопрос. Дело в том, что огромному множеству современных тенденций в естественных науках свойственен, по сути, исторический характер – иными словами, они изучают происходящие со временем изменения. Именно по этой причине небезосновательно будет перевернуть вопрос с ног на голову и спросить не “Считать ли историю наукой?”, а “Считать ли науку историей?”.

Это верно даже для относительно старого второго закона термодинамики, который гласит, что энтропия изолированной системы всегда стремится к повышению – то есть что беспорядок усиливается, если предоставить систему самой себе, и что даже попытки навести порядок в итоге приводят к снижению количества доступной упорядоченной энергии. Это имеет огромное историческое значение – и не в последнюю очередь потому, что подразумевает безусловный и беспорядочный конец истории человеческой жизни и вселенной в целом. Теория относительности Эйнштейна тоже оказала влияние на историческое мышление, поскольку она развенчала представления об абсолютном времени. После Эйнштейна мы стали понимать, что каждый наблюдатель измеряет время по-своему: если бы меня подняли высоко над землей,

---

<sup>155</sup> Mallarmé S. *Igitur. Divagations. Un coup de dés* / Éd. par Y. Bonnefoy. Paris, 1976.

<sup>156</sup> Untermeyer L. (Ed.). *The Road Not Taken: A Selection of Robert Frost's Poems*. New York, 1951. Pp. 270f. Пер. Г. Кружкова.

<sup>157</sup> Scriven M. *Truisms as Grounds for Historical Explanations* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 470f.

мне бы казалось, что все внизу происходит медленнее из-за влияния гравитационного поля земли на скорость света. Однако даже относительное время имеет лишь одно направление, одну “стрелу”, в основном из-за энтропии и влияния энтропии на наше психологическое восприятие времени: даже энергия, расходуемая на запись факта в нашу память, повышает уровень беспорядка во вселенной.

Беспорядок увеличивается. Ничто не движется быстрее света. Однако вопреки ожиданиям позитивистов девятнадцатого века не каждый процесс в мире природы можно объяснить действием таких четких законов. Одним из главных научных прорывов конца девятнадцатого века стало осознание, что большинство утверждений о взаимоотношении природных явлений были, по сути, не более чем вероятностными. Американец Ч. С. Пирс еще в 1892 г. провозгласил конец детерминизма в своей книге “Анализ учения о неизбежности”: “Случай сам по себе проникает на все улицы смысла, и нет ничего навязчивее его, – заявил Пирс. – Случай стоит на первом месте, закон – на втором, а тенденция к привыканию – на третьем”<sup>158</sup>. Окончательные свидетельства этому появились в 1926 г., когда Гейзенберг доказал, что невозможно с точностью предсказать будущее положение и скорость частицы, поскольку ее текущее положение можно определить, только используя хотя бы один квант света. Чем короче длина волны используемого света, тем более точно определяется положение частицы, но тем сильнее и искажаются данные о ее скорости. Из-за этого “принципа неопределенности” квантовая механика может лишь предсказывать ряд возможных исходов конкретного наблюдения и предполагать, какой из них наиболее вероятен. Как заметил Стивен Хокинг, это на фундаментальном уровне “привносит в науку неизбежный элемент непредсказуемости или случайности”<sup>159</sup>. Именно против этого возражал Эйнштейн, верный идеалу вселенной Лапласа. В знаменитом письме Максуду Борну он написал:

Ты веришь в Бога, который играет в кости, а я верю в полный закон и порядок в объективно существующем мире, что и пытаюсь доказать сугубо спекулятивным методом. Я твердо *верю*, но надеюсь, что кто-то найдет для этого более реалистический путь, а лучше даже более осязаемый фундамент, чем сумел найти я сам. Огромный изначальный успех квантовой теории не убеждает меня поверить, что в основе всего лежит игра в кости, хотя я прекрасно понимаю, что твои более молодые коллеги считают это следствием старческого маразма<sup>160</sup>.

Однако неопределенность пережила Эйнштейна и имеет не менее обескураживающие следствия для исторического детерминизма. По аналогии историки не должны забывать о собственном “принципе неопределенности”, который гласит, что любое наблюдение исторического свидетельства неизбежно искажает его значимость самим фактом его выбора через призму ретроспективы.

Влияние на историю оказала и другая важная научная концепция – так называемый “антропный” принцип, который в “строгом” смысле гласит, что “существует множество различных вселенных или областей единой вселенной и для каждой из них характерна собственная начальная конфигурация, а возможно, и собственный набор законов науки... [однако] только в нескольких вселенных, похожих на нашу, появляется разумная жизнь”<sup>161</sup>. Само собой, здесь сразу возникают очевидные проблемы: непонятно, насколько значимыми считать другие “истории”, в которых нас нет. Согласно Хокингу, “наша вселенная представляет собой не просто один из возможных вариантов истории, а один из наиболее вероятных... существует

<sup>158</sup> Hacking I. *The Taming of Chance*. Cambridge, 1990.

<sup>159</sup> Hawking S. *A Brief History of Time*. London, 1988. Pp. 53ff.

<sup>160</sup> Stewart I. *Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos*. London, 1990. P. 293.

<sup>161</sup> Hawking S. *A Brief History of Time*. London, 1988. Pp. 123f.

определенное семейство историй, которые гораздо вероятнее остальных”<sup>162</sup>. Эту идею о существовании множества вселенных (и измерений) развил физик Митио Каку. На мой взгляд, историку не стоит буквально воспринимать ряд наиболее фантастических гипотез Каку. Учитывая количество необходимой энергии, кажется сомнительным, что путешествия во времени сквозь “трансверсабельные кротовые норы” в пространстве-времени можно назвать хотя бы “теоретически” возможными. (Помимо всего прочего, как часто говорится, если бы путешествия во времени были возможны, к нам давно бы хлынул поток “туристов” из будущего – но только тех, которые не решились отправиться в более давние времена, чтобы предотвратить убийство Линкольна или задушить в колыбели новорожденного Адольфа Гитлера.)<sup>163</sup> Тем не менее идея о бесконечном множестве вселенных может послужить важной эвристической цели. Мысль о том – как выразился один физик, – что существуют другие миры, где на кончике знаменитого носа Клеопатры красовалась омерзительная бородавка, весьма нетрадиционна. Однако она напоминает нам о неопределенной природе прошлого.

В последние годы подобным образом отошли от детерминизма и биологические науки. Хотя в работе Ричарда Докинза, к примеру, и слышатся детерминистические нотки, ведь он называет отдельные организмы, включая людей, просто “машинами выживания, сформированными недолговечными альянсами долговечных генов”, в “Эгоистичном гене” он явно говорит, что гены “определяют поведение только в статистическом смысле... [они] не контролируют свои творения”<sup>164</sup>. Его дарвиновская, по сути, теория эволюции “слепа к будущему” – у природы нет заранее составленного плана. Вся суть эволюции заключается в том, что молекулы-репликаторы (такие, как ДНК) совершают и воспроизводят ошибки, так что “на первый взгляд банальные и незначительные изменения могут оказывать существенное воздействие на эволюцию”. “Гены не обладают прозорливостью, они не планируют на будущее”. Докинза можно назвать детерминистом лишь в одном отношении – он отрицает влияние “неудач” на процесс естественного отбора: “Удача по определению случайна, поэтому ген, который постоянно проигрывает, нельзя считать неудачливым – это просто плохой ген”. Таким образом, те организмы, которые проходят огонь, воду и медные трубы, лучше всего для этого подготовлены: “Генам приходится выполнять аналогичную прогнозированию задачу... [Однако] прогнозирование в сложном мире – рискованное дело. Каждое решение машины выживания сопряжено с риском... В результате те индивиды, гены которых сформировали их мозг таким образом, чтобы они правильно выбирали стратегию, с большей вероятностью выживают, а следовательно, и передают по наследству те же самые гены. Отсюда и реакция на базовые стимулы боли и наслаждения, и способность запоминать ошибки, моделировать варианты и взаимодействовать с другими «машинами выживания»”<sup>165</sup>.

Впрочем, другие эволюционисты критикуют эту нить рассуждений, поскольку она подразумевает по-прежнему детерминистическое следствие о том, что победа достается сильному отдельному организму (или “мему”, или “фенотипу” – то есть другим формам репликаторов Докинза). Как показывает в своей “Удивительной жизни” Стивен Джей Гулд, определенные случайные события – крупные природные катастрофы, подобные той, что, судя по всему, произошла после так называемого “Кембрийского взрыва”, – нарушают ход процесса естествен-

<sup>162</sup> *Ibid.* P. 137.

<sup>163</sup> Kaku M. *Hyperspace: A Scientific Odyssey through the 10<sup>th</sup> Dimension*. Oxford, 1995. Pp. 234ff. Само собой, воспоминания об успешном путешествии во времени гипотетически могут стереться в процессе перемещения.

<sup>164</sup> Dawkins R. *The Selfish Gene*. 2<sup>nd</sup> ed Oxford, 1989. Pp. 267, 271.

<sup>165</sup> *Ibid.* Pp. 4, 8, 15ff., 24f., 38f., 45. Отсюда и наш инстинкт защищать жизнь других машин выживания, пропорциональный количеству генов, которые они делят с нами, их возрасту и будущей способности к деторождению в сравнении с нашей. В модели Докинза даже контроль за рождаемостью представляет собой способ максимизации количества выживающих потомков, а следовательно, предоставления родительским генам наилучшего шанса на выживание.

ного отбора<sup>166</sup>. Коренным образом изменяя многолетние экологические условия, они в одночасье обесценивают признаки, которые на протяжении тысяч лет формировались в ответ на эти условия. Выжившие выживают не потому, что гены сумели разработать и создать превосходные “машины выживания”, а часто потому, что их рудиментарные признаки вдруг оказываются козырем. Иначе говоря, в доисторическую эпоху от роли случая никуда не деться. Гулд показывает, что разнообразие анатомических форм, обнаруженное в Бёрджесских сланцах в Британской Колумбии, возраст которых оценивается в 530 миллионов лет, лишило актуальности традиционные цепочки эволюционной теории. Это не дарвиновский закон естественного отбора определил, какие из организмов, сохранившихся в Бёрджесских сланцах, пережили великий кризис, разразившийся на планете 225 миллионов лет назад. Выжившие организмы стали просто счастливыми победителями катастрофической “лотереи”. Если бы землю постиг другой катаклизм, развитие жизни пошло бы другим, непредсказуемым путем<sup>167</sup>.

И снова можно глумиться над описанными Гулдом альтернативными мирами, населенными “травоядными морскими организмами” и “морскими хищниками с хватательными передними конечностями и челюстями-щипцами”, но не *Homo sapiens* (“Если бы в море царили маленькие приапулиды, я сомневаюсь, что австралопитек вообще однажды прошелся бы на двух ногах по саваннам Африки”)<sup>168</sup>. Однако замечания Гулда о роли случая в истории далеко не абсурдны. В отсутствие научной процедуры верификации через повторение историк эволюции может лишь формировать нарратив – как выразился Гулд, проигрывать заново воображаемую пленку, – а затем выдвигать предположения относительно того, что случилось бы, если бы другими были начальные условия или какое-либо из событий последовательности. Это применимо не только к неожиданному триумфу полихетов над приапулидами после бёрджесского периода или триумфу млекопитающих над гигантскими птицами в эоцене, но и к той краткой восемнадцатитысячной доле истории планеты, в течение которой ее населял человек.

Да, рассуждения Гулда во многом основаны на роли крупных потрясений – например, вызванных влиянием внеземных тел. И все же это не единственный путь, которым случайность проникает в исторический процесс. Как показали сторонники “теории хаоса”, природа довольно непредсказуема – даже когда с неба не падают метеориты, – чтобы сделать точные предсказания практически невозможными.

В современном обиходе математиков, метеорологов и других ученых “хаос” не синоним анархии. Это слово не означает, что в природе не существует законов. Оно означает лишь то, что эти законы настолько сложны, что нам фактически не под силу делать точные предсказания, а потому многое из происходящего вокруг нас *кажется* случайным или хаотичным. Поэтому, как сказал Иэн Стюарт, “Бог может играть в кости, одновременно создавая вселенную, где царит совершенный закон и порядок”, поскольку “даже простые уравнения [могут] рождают движение такой сложности, такой чувствительности к измерению, что оно кажется случайным”<sup>169</sup>. Если точнее, теория хаоса занимается стохастическим (то есть якобы случайным) поведением, наблюдающимся в рамках детерминистических систем.

<sup>166</sup> Gould S. J. *Wonderful Life: The Burgess Shale and the Nature of History*. London, 1989. Особенно pp. 47f.

<sup>167</sup> То же на самом деле заметил и Бьюри: “Судя по всему, появление различных ботанических и зоологических видов, которые существуют и существовали в прошлом, зависело от воли случая. Ничто не делало существование дуба или гиппопотама неизбежным. Нельзя также доказать, что был хоть какой-то фактор, который сделал неизбежным появление *anthropos*. На далеком пороге истории мы словно бы находим первобытную случайность – происхождение человека”, см.: Bury J. V. *Cleopatra's Nose* // Bury J. V. *Selected Essays* / Ed. by H. W. V. Temperley. Cambridge, 1930. Pp p. 68.

<sup>168</sup> *Ibid.* Pp. 238f., 309–321. Неубедительные попытки восстановления детерминизма в ответ на работу Гулда можно см. в работе: Lewin R. *Complexity: Life at the Edge of Chaos*. London, 1995. Pp. 23–72, 130ff. Некоторые критики Гулда выставляли себя на посмешище, стремясь возродить концепцию божественной воли и целостной вселенной, обращаясь к образу богини земли Геи. Это гегельянство нью-эйджа.

<sup>169</sup> Stewart I. *Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos*. London, 1990. Pp. 2f., 6.

Изначально этот феномен интересовал только последователей выдающегося французского математика Анри Пуанкаре. Пуанкаре полагал, что при многократной трансформации математической системы должна возникать периодичность, однако Стивен Смейл и другие ученые обнаружили, что во множественных измерениях некоторые динамические системы не ограничиваются четырьмя типами состояния покоя, описанными Пуанкаре для двух измерений. Используя предложенную Пуанкаре топологическую систему установления соответствия, можно было выявить ряд “странных аттракторов” (таких как канторово множество), к которым тяготели такие системы. “Странность” этих систем заключалась в крайней сложности предсказания их поведения. Из-за их чрезвычайной чувствительности к начальным условиям для безошибочного прогнозирования необходимо было располагать невозможно точным знанием их исходных точек<sup>170</sup>. Иными словами, кажущееся случайным поведение на самом деле не совсем случайно – оно просто нелинейно: “Даже когда наша теория детерминистична, не все ее предсказания подтверждаются воспроизводимыми экспериментами. Подтверждаются лишь те, которые выдерживают небольшие изменения начальных условий”. Теоретически мы могли бы предсказать, какой стороной упадет подброшенная монетка, если бы точно знали ее вертикальную скорость и количество оборотов в секунду. На практике это слишком тяжело – то же самое *a fortiori* относится и к более сложным процессам. В связи с этим, хотя теоретически вселенная все же детерминистична, “любые ставки на детерминизм бесполезны. Лучшее, на что мы способны, это вероятности... [поскольку] мы слишком глупы, чтобы разглядеть закономерность”<sup>171</sup>.

Теория хаоса получила множество применений (и породила множество производных). Одним из первых стала классическая физическая задача “трех тел” – о непредсказуемости гравитационного воздействия двух равновеликих планет на частицу пыли, – что астрономы на практике наблюдали на примере очевидно случайной траектории вращения Гипериона вокруг Сатурна. Теория хаоса применима также к турбулентности жидкостей и газов – это особенно интересовало Митчелла Фейгенбаума. Бенуа Мандельброт обнаружил другие хаотические закономерности в своей работе “Фрактальная геометрия природы”: фрактал, по его определению, “продолжал демонстрировать четко определенную структуру в большом диапазоне масштабов” – прямо как “фиговое дерево” Фейгенбаума. Исследование Эдварда Лоренца о конвекции в погоде дает нам один из самых поразительных примеров хаоса в действии: он использовал фразу “эффект бабочки”, чтобы описать чрезвычайную зависимость климата от начальных условий (имея в виду, что взмах крыла единственной бабочки сегодня может в принципе определить, случится ли через неделю ураган на юге Англии). Иными словами, малейшие колебания состояния атмосферы могут приводить к серьезным последствиям – отсюда и невозможность хотя бы примерно точно прогнозировать погоду (даже при наличии мощнейшего в мире компьютера) более чем на четыре дня вперед. Роберт Мэй и другие также обнаружили хаотические закономерности в флуктуациях популяции насекомых и животных. В известном роде теория хаоса наконец подтверждает то, о чем давно догадались Марк Аврелий и Александр Поуп: даже если мир кажется “порождением случая”, он все равно обладает “четкой и прекрасной” – пускай и непостижимой – структурой. “Заключено в природе мастерство, / Хоть неспособен ты постичь его” (Пер. В. Миклушевича).

Очевидно, что теория хаоса имеет широкий спектр применения в социальных науках. Экономистам теория хаоса помогает объяснить, почему прогнозы и предсказания, основанные

<sup>170</sup> *Ibid.* 57ff., 95ff. Приведу конкретный пример: кажется, что логистическое установление соответствия  $x \rightarrow kx(1-x)$  (то есть производной нелинейного уравнения  $xt+1 = kxt(1-xt)$ ) становится случайным, как только  $k$  принимает значение больше 3. Однако если  $k$  увеличивается постепенно, возникает закономерность: когда  $x$  изображается в зависимости от  $k$ , получается диаграмма бесконечной бифуркации – так называемое “фиговое дерево” (названное в честь открывшего его Митчелла Фейгенбаума), *ibid.* Pp. 145ff.

<sup>171</sup> *Ibid.* Pp. 289–301.

на их линейных уравнениях, которые служат фундаментом для большинства экономических моделей, так часто не оправдываются<sup>172</sup>. Тот же принцип, “что простые системы не обязательно обладают простыми динамическими характеристиками”, пожалуй, можно применить и к миру политики<sup>173</sup>. Это по меньшей мере должно предостеречь экспертов от разработки простых теорий об определяющих факторах выборов. Наше понимание хаотических систем, как заметил Роджер Пенроуз, позволяет нам в лучшем случае “смоделировать типичные исходы. Может, прогноз погоды и не всегда сбывается на самом деле, однако он вполне убедителен в качестве *одного из* вариантов погоды”<sup>174</sup>. То же самое относится к экономическим и политическим прогнозам. Составитель долгосрочных прогнозов в лучшем случае может предложить нам ряд убедительных сценариев и признать, что выбор между ними станет лишь догадкой, но не пророчеством.

## К хаостории

Но как же применить теорию хаоса историкам, которых интересует не предсказание будущего, а понимание прошлого? Недостаточно просто сказать, что человек, подобно всем другим организмам, испытывает на себе влияние хаотического поведения мира природы, хотя не возникает никаких сомнений, что до самого конца девятнадцатого века погода была, пожалуй, главным определяющим фактором благополучия большинства людей. Однако в современной истории все больше влияния в этом отношении получают действия других людей. В XX веке жизнь большего, чем когда-либо ранее, количества людей оборвалась из-за других людей – а не под влиянием природы.

Философское значение теории хаоса заключается в том, что она пересматривает понятия причинности и случая. Она спасает нас не только от абсурдного мира идеалистов вроде Оукшотта, где нет причинно-следственной связи, но и от столь же абсурдного мира детерминистов, где есть лишь цепочка предопределенной каузальности, основанной на законах. Хаос – стохастическое поведение в детерминистических системах – предполагает наличие непредсказуемых исходов, даже если последовательность событий объединена причинно-следственной связью.

Фактически эта срединная позиция уже подразумевалась во многом, что философы истории говорили о каузальности в 1940-х и 1950-х гг. – еще до появления теории хаоса. Фундаментальная детерминистическая идея, что каузальные связи обуславливаются исключительно законами, как мы увидели, восходит к работам Юма. В своем “Трактате о человеческой природе” Юм утверждал, что о наличии каузальной связи между двумя явлениями  $X_1$  и  $Y_1$  можно заявить, только если наблюдалась *серия* случаев, в которых факты  $X_1, X_2, X_3, X_4...$  предвещали факты  $Y_1, Y_2, Y_3, Y_4...$  – и серия достаточно длинная, чтобы оправдать вывод, что за  $X$  всегда (или почти всегда) следует  $Y$ . Доработанная Гемпелем, эта модель каузальности стала известна как модель “охватывающего закона”. Она гласит, что любое утверждение каузальной природы предопределено законом (или “очевидным изложением [предустановленных] общих принципов”), выведенным на основании многократных наблюдений<sup>175</sup>.

---

<sup>172</sup> См.: Kay J. *Cracks in the Crystal Ball* // Financial Times, 29 September 1995.

<sup>173</sup> Stewart I. *Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos*. London, 1990. P. 21.

<sup>174</sup> Penrose R. *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. London, 1994. P. 23.

<sup>175</sup> Hempel C. *The Function of General Laws in History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 344–55; Hempel C. *Reasons and Covering Laws in Historical Explanation* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 143–163. Во второй работе Гемпель проводит различие между универсальными законами и вероятностными объяснениями на основе статистической зависимости и замечает, что многие исторические толкования построены на базе вторых, а не первых. См. также: Nagel E. *Determinism in History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966 (passim). Защищая детерминизм, Нагель возрождает метафору Плеханова – Бьюри о столкновении

Однако Карл Поппер усомнился в возможности вывода подобных законов исторических изменений, если под “законом” подразумевалось прогнозное утверждение, аналогичное классическим законам физики. Поппер полагал, что научная методология – систематическая проверка гипотез путем экспериментов – не может применяться к изучению прошлого. Поппер отрицал детерминизм – который почему-то называл “историзмом”, – но это все же не означало, что он отрицает и саму концепцию каузальности, как ее отрицал Оукшотт<sup>176</sup>. Поппер признавал, что события и тенденции определяются “начальными условиями”. Он не готов был принять лишь то, что в истории возможно найти каузальное объяснение, которое не будет зависеть от такого общего утверждения или дедуктивной уверенности. Коллингвуд уже провел различие между гемпелевским (или номологическим) типом каузального объяснения и “практическим” типом объяснения, где причина считалась “событием или состоянием вещей, обеспечив *или предотвратив* которое мы можем обеспечить или предотвратить то событие, причиной которого она представляется”<sup>177</sup>. Здесь лучшим критерием для определения каузальной связи был не гемпелевский охватывающий закон, а так называемое “необходимое условие”, или *conditio sine qua non*, действующее принцип, что “следствие не может случиться или существовать, если не случилась или не существует причина”. Поппер сделал такое же замечание: “Существует бесконечное множество возможных условий. Чтобы иметь возможность изучить эти варианты в поисках истинных условий зарождения тенденции, мы должны постоянно пытаться *представить условия, в которых рассматриваемая тенденция исчезла бы*”<sup>178</sup>. Сильнее всего Поппер критиковал сторонников “историзма” за их неспособность задавать подобные вопросы – “представлять перемены в условиях перемен” (как мы видели, этим грешили и идеалисты, включая Оукшотта).

Следствия этого были подробнее изучены Франкелем, который приводит несколько примеров исторических объяснений, представляющих собой описания “условий, в отсутствие которых рассматриваемые события не случились бы”:

Изменилось ли бы течение Великой французской революции, если бы Руссо не написал “Общественный договор”? Изменился ли бы период восстановления после Гражданской войны, если бы Бут, как и большинство потенциальных убийц, оказался плохим стрелком? Само собой, применяя каузальные воздействия определенного типа к Руссо и Линкольну, мы предполагаем, что ответ на эти вопросы положителен... Каково конкретно общее правило, которое стоит за положением исторической каузальности, таким как “красота Клеопатры заставила Антония задержаться в Египте”?<sup>179</sup>

Как заметил Галли, “историки... говорят нам, как случилось конкретное событие, указывая на предшествовавшие ему события, которые до той поры оставались незамеченными или хотя бы недооцененными, но в отсутствие которых, утверждают они на основе индуктивного рассуждения, рассматриваемое событие вряд ли случилось бы или не случилось бы вовсе”<sup>180</sup>. Различие между естественной наукой и историей состоит в том, что историкам часто приходится полагаться исключительно на такие объяснения, в то время как ученые могут использо-

---

цепочек для объяснения очевидно “случайных” фактов, *ibid.* p. 37.

<sup>176</sup> Ключевыми работами являются следующие: Popper K. *The Open Society and its Enemies*. London, 1945 и *The Poverty of Historicism*. London, 1957.

<sup>177</sup> Collingwood R. G. *An Essay on Metaphysics*. Oxford, 1940.

<sup>178</sup> Popper K. *The Poverty of Historicism*. London, 1957. Pp. 122, 128ff.

<sup>179</sup> Frankel Ch. *Explanation and Interpretation in History* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. P. 411–415.

<sup>180</sup> Gallie W. B. *Explanations in History and the Genetic Sciences* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. P. 387. См. также: Scriven M. *Causes and Connections and Conditions in History* // Dray W. (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 238–264.

вать их в качестве гипотез, которые необходимо проверить экспериментальным путем. Иными словами, если мы хотим поговорить о каузальности прошлого, не прибегая к охватывающим законам, нам приходится использовать гипотетический анализ, пускай даже только чтобы проверить нашу каузальную гипотезу.

Правоведы, специализирующиеся на каузальности, которые, если уж на то пошло, не меньше историков заинтересованы в понимании причин событий прошлого, пришли к тому же выводу другим путем. Как показывают Харт и Оноре, с юридической точки зрения, существуют практические проблемы с предложенным Миллем определением причины как “совокупности положительных и отрицательных условий, всех случайностей... за которыми неизбежно наступает последствие”<sup>181</sup>. Дело в том, что при определении степени ответственности, суммы финансовых обязательств, размера компенсации и типа наказания юристы должны выяснить, какая из множества причин – пожара, к примеру, или смерти – “оказалась решающей”<sup>182</sup>. Здесь опять единственным способом сделать это становится принцип “необходимого условия”, или *conditio sine qua non*: только определив, был ли бы конкретный ущерб нанесен в отсутствие предположительно преступного деяния ответчика, мы можем сказать, стало ли это деяние причиной ущерба в юридическом смысле. Как заметил Р. Б. Брейтвейт, каузально связанными, таким образом, считаются события, которые используются:

чтобы подтвердить не только выводы о том, что случилось или случится, но и “гипотетические” выводы о том, что случилось бы, если бы какое-то из событий, которое на самом деле имело место, не случилось бы... Юрист задействует ключевой элемент каузальных связей... [спрашивая], раз предполагается, что А стало причиной В... случилось бы В в отсутствие А?<sup>183</sup>

Харт и Оноре признают практические ограничения *conditio sine qua non* (например, в гипотетическом деле, где два человека одновременно застрелили третьего)<sup>184</sup>. Однако они не сомневаются, что его все равно следует предпочесть не менее субъективным допущениям “реалистов” о намерениях законодателей.

Философские следствия гипотетических рассуждений весьма сложны. Как заметил Гардинер, многое зависит от формы гипотетического вопроса, который часто оказывается неполным:

“Стала ли стрельба на бульварах причиной революции 1848 года во Франции?” Означает ли это: “Произошла ли бы революция в тот же самый момент, когда она произошла, если бы стрельбы не было?” Или же это означает: “Произошла ли бы революция рано или поздно, даже если бы стрельбы не было?” А если, получив положительный ответ на последний вопрос, мы спросим: “Какова тогда настоящая причина революции?” – нам снова понадобятся уточнения. Дело в том, что существует целый ряд возможных ответов... И нет единственно верных Реальных Причин, которые предстоит открыть историкам...<sup>185</sup>

Эти проблемы формулировки подробно изучались логиками<sup>186</sup>. Однако историку, пожалуй, важнее решить, *какие* гипотетические вопросы вообще необходимо задавать. Не зря

<sup>181</sup> Hart H. L. A. and Honoré T. *Causation in the Law*. 2<sup>nd</sup> ed. Oxford, 1985. Pp. 10ff.

<sup>182</sup> *Ibid.* Pp. 22–63.

<sup>183</sup> *Ibid.* Pp. 15f., n. 21.

<sup>184</sup> *Ibid.* Pp. 101, 109–114.

<sup>185</sup> Gardiner P. *The Nature of Historical Explanation*. London, 1952. Pp. 107ff.

<sup>186</sup> Lewis D. *Counterfactuals*. Oxford, 1973; Reichenbach H. *Laws, Modalities and Counterfactuals*. Berkeley, 1976; Kwart I. A. *Theory of Counterfactuals*. Indianapolis, 1986.

одним из самых сильных аргументов против рассмотрения альтернативных сценариев служит замечание, что количество возможных альтернатив ничем не ограничено. Подобно Цюй Пэну Борхеса, историк сталкивается с бесчисленными “расходящимися тропками”. Именно это Кроче считал главным недостатком гипотетического анализа.

На практике, однако, нет смысла задавать большую часть возможных гипотетических вопросов. К примеру, ни один человек в здравом уме не захочет узнать, что случилось бы, если бы в 1848 г. все население Парижа вдруг отрастило бы крылья, поскольку этот сценарий не *правдоподобен*. На эту потребность в правдоподобности при формулировке гипотетических вопросов впервые указал сэр Исайя Берлин. В своей критике детерминизма Берлин, как и Мейнеке, отталкивался от положения, что детерминизм несовместим с потребностью историка выносить оценочные суждения о “характере, целях и мотивах индивидов”<sup>187</sup>. Однако далее он провел различие (что до него предлагал Нэмир) между тем, что случилось, что могло случиться и что случиться не могло:

[Н] икто не станет отрицать, что мы часто спорим о том, какой порядок действий был бы наилучшим из всех вариантов, доступных людям в настоящем, прошлом и будущем, в фантазиях и мечтах; что историки (а также судьи и присяжные) действительно пытаются определить, насколько это возможно, каковы эти варианты; что прочерчиваемые в результате линии обозначают границу между достоверной и недостоверной историей; что так называемый реализм (в отличие от вымысла, незнания жизни или утопических мечтаний) заключается ровно в том, чтобы *поместить случившееся (или то, что могло случиться) в контекст того, что могло бы случиться (или может случиться)*, и *отделить от того, что случиться не могло*; что все это... и составляет в итоге смысл истории [и] что от этой способности зависит вся историческая (и юридическая) справедливость...<sup>188</sup>

Это различие между тем, что случилось, и тем, что вполне могло бы случиться, имеет решающее значение:

Когда историк, пытаясь определить, что случилось и почему, отвергает всю бесконечность логически открытых возможностей, подавляющее большинство которых совершенно абсурдно, и, подобно детективу, изучает только те возможности, которые обладают хотя бы некоторым начальным правдоподобием, именно правдоподобное – то есть то, что люди, будучи людьми, могли бы совершить или кем могли бы стать, – увязывает воедино закономерности жизни...<sup>189</sup>

Иначе говоря, нас интересуют возможности, которые казались правдоподобными в прошлом. Это прекрасно понимал Марк Блок:

Оценить правдоподобие события – значит, взвесить шансы на то, чтобы оно свершилось. Учитывая это, разумно ли говорить о возможности события прошлого? Очевидно, нет, совершенно неразумно. Непредсказуемость свойственна лишь будущему. Прошлое уже определено – в нем нет места возможностям. Пока не брошена игральная кость, вероятность выпадения

<sup>187</sup> Berlin I. *Historical Inevitability*. London, 1954. См. особенно pp. 78f.: “Те, кто придерживается [детерминистических взглядов], используют историю в качестве способа сбежать из мира, который по какой-то причине стал им ненавистен, в фантазию, где беспристрастные сущности мстят за их тяготы и устраивают все должным образом”. См. также: Geyl P. *Historical Inevitability: Isaiah Berlin* // Geyl P. *Debates with Historians*. The Hague, 1955. P. 237–241.

<sup>188</sup> Berlin I. *Determinism, Relativism and Historical Judgements* // Gardiner P. (Ed.). *Theories of History*. Glencoe, Illinois/London, 1959. Pp. 320f. Курсив мой.

<sup>189</sup> Berlin I. *The Concept of Scientific History* // Dray (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 49.

любого числа составляет один к шести. Проблема исчезает, как только кость вылетает из стакана... Однако при ближайшем рассмотрении применение вероятностей в исторических изысканиях не вызывает противоречий. Когда историк задает себе вопрос о вероятности прошлого события, он пытается мысленно переместиться в момент, когда это событие еще не произошло, чтобы оценить, какой была его вероятность накануне его реализации. Таким образом, вероятность остается свойством будущего. Однако, поскольку настоящий момент был отодвинут в прошлое силой воображения, перед нами открывается будущее прошлых времен, основанное на фрагменте, который для нас лежит в прошлом<sup>190</sup>.

Почти то же самое написал и Тревор-Ропер:

В любой конкретный момент истории существуют реальные альтернативы... Как нам объяснить, “что случилось и почему”, если смотреть только на то, что случилось, не рассматривая альтернативы... Только оказавшись перед альтернативами прошлого... только живя моментом, которым жили люди того времени, только находясь в еще изменчивом контексте среди еще не решенных проблем, только наблюдая приближение этих проблем... мы можем вынести полезные уроки из истории<sup>191</sup>.

Иными словами, сужая спектр исторических альтернатив и рассматривая только *правдоподобные* варианты – и таким образом заменяя загадку “случайности” расчетом *вероятностей*, – мы решаем дилемму выбора между единым детерминистическим прошлым и необъятной бесконечностью возможных прошлых. Следовательно, необходимые нам гипотетические сценарии представляют собой не просто фантазии – это модели, построенные на расчетах относительной вероятности правдоподобных исходов в хаотическом мире (поэтому они и называются “виртуальной историей”).

Само собой, это значит, что мы должны в известной степени понимать теорию вероятности. К примеру, нам следует избегать заблуждения игрока, которому кажется, будто шанс, что при следующем повороте рулетки выпадет черное, возрастает, если до этого пять раз выпало красное. На самом деле это не так – равно как когда мы подбрасываем монетку или бросаем кости<sup>192</sup>. С другой стороны, историки изучают людей, которые, в отличие от игровых костей, обладают памятью и сознанием. В случае с костями прошлое действительно не влияет на настоящее – важны лишь уравнения, которые описывают их движение в броске. Однако в случае с людьми прошлое часто имеет влияние. Вот простой пример (позаимствованный из теории игр): политик, который дважды избежал военного конфликта, может набраться смелости и взяться за оружие в ответ на третий вызов именно потому, что он помнит прошлые унижения. Любое предположение о вероятности вступления политика в открытый конфликт должно основываться на оценке его прошлого поведения и его текущего отношения к собственному поведению в прошлом. В связи с этим оценить историческую вероятность сложнее, чем математическую. Бог не играет в кости, а люди костями *не являются*. Мы возвращаемся к тому, что Коллингвуд назвал поистине “исторической формой” каузальности, в которой “причиной «вызывается» свободный и преднамеренный поступок сознательного и разумного

---

<sup>190</sup> *Ibid.* P. 103.

<sup>191</sup> Trevor-Roper H. *History and Imagination* // Pearl V., Worden B. and Lloyd-Jones H. (Eds). *History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper*. London, 1981. Pp. 363ff. Элтон, как и Хейзинга, сделал подобное замечание в работе *The Practice of History*.

<sup>192</sup> См.: Wolpert L. *The Unnatural Nature of Science*. London, 1992. Pp. 20f.

агента”.<sup>193</sup> А как сказал Дрэй, “принципы поведения” агентов прошлого не всегда представляются нам строго рациональными<sup>194</sup>.

Тем не менее остается один вопрос без ответа. Как *именно* нам отличить вероятные нереализованные альтернативы от невероятных? Чаще всего гипотетический анализ критикуют за его зависимость от “фактов, доказать существование которых невозможно”. Следовательно, нам просто не хватает знаний для ответа на гипотетические вопросы. Но это не так. Ответ на этот вопрос на самом деле очень прост: правдоподобными или вероятными следует считать *лишь те альтернативы, которые действительно рассматривались современниками, о чем свидетельствуют источники изучаемого периода.*

Это в высшей степени важный момент, который, похоже, ускользнул от Оукшотта. Как часто говорится, наше прошлое когда-то было будущим, а люди прошлого, как и мы сегодня, не имели представления о том, чего ждать впереди. Они могли лишь рассматривать вероятное будущее, некий правдоподобный исход. Возможно, некоторые люди прошлого вообще не интересовались будущим. Верно и то, что многие люди прошлого были вполне уверены, что знают, какое будущее их ждет, и порой даже оказывались правы. Однако большинство людей прошлого рассматривало более одного возможного варианта будущего. Хотя в итоге сбывалось не более одного из этих вариантов, *перед* своей реализацией этот вариант был не реальнее (хотя теперь он и может казаться вероятнее) других. Если же вся история представляет собой историю (записанной) мысли, нам явно следует придавать одинаковое значение *всем* исходам, которые рассматривались в изучаемый период. Историк, который позволяет своему знанию о том, какой из исходов в итоге реализовался, вычеркнуть все остальные исходы, которые люди считали вероятными, не может и надеяться описать прошлое таким, “каким оно было на самом деле”. Рассматривая лишь ту возможность, которая стала реальностью, он совершает самую примитивную телеологическую ошибку. Чтобы понять, как все было на самом деле, мы должны понять, *как на самом деле не было* – но как для современников могло бы быть. Это еще важнее, если реализуется исход, которого никто не ожидал – и о котором никто не думал, пока он не случился.

Это существенно сужает диапазон гипотетического анализа. Более того, мы вправе анализировать лишь те гипотетические сценарии, которые современники не только рассматривали, но и записали на бумаге (или другом носителе информации), дошедшей до наших дней и признанной историками в качестве достоверного исторического источника. Очевидно, это привносит в историю дополнительный элемент непредсказуемости, поскольку нельзя заранее сказать, какие из документов дойдут до наших дней. Но в то же время это делает гипотетическую историю целесообразной.

Гипотетический анализ имеет под собой два основания. Во-первых, при постановке вопросов о каузальности возникает *логическая* необходимость выявлять “необходимое условие” и пытаться представить, что случилось бы в отсутствие предполагаемой причины. По этой причине мы обязаны моделировать правдоподобные альтернативные варианты прошлого на основе оценки вероятностей, а делать это можно лишь на базе исторических свидетельств. Во-вторых, существует *историческая* необходимость проведения гипотетического анализа при попытке установить, каким “на самом деле было” прошлое – прямо как наказывал Ранке, поскольку нам следует придавать равную значимость всем возможностям, которые до реали-

---

<sup>193</sup> Фишер даже добавляет еще несколько типов каузальности: основанную на “ненормальных предшествующих событиях”, “структурных предшествующих событиях”, “серии случайных предшествующих событий” и “безрассудных предшествующих событиях”. Однако практичность этой типологии представляется сомнительной, поскольку различия между типами далеко не очевидны.

<sup>194</sup> Dray W. *Laws and Explanation in History*. Oxford, 1957. См. также: Dray W. *The Historical Explanation of Actions Reconsidered* // Hook S. (Ed.). *Philosophy and History*. New York, 1963. Pp. 105ff. Критику Гемпеля см. также в работе: Donagan A. *The Popper – Hempel Theory Reconsidered* // Dray (Ed.). *Philosophical Analysis and History*. New York/London, 1966. P. 127–159.

зации события обдумывали современники, причем эта значимость должна быть выше значимости непредвиденного ими исхода.

Таким образом, помимо первого условия об обязательном использовании четко прописанного аргумента о *conditio sine qua non*, все вошедшие в этот сборник эссе также отвечают методологическому условию о рассмотрении лишь тех гипотетических вариантов, которые обдумывали и современники. Рассуждения в каждой главе начинаются с анализа альтернатив, которые в рассматриваемый период считались реалистичными.

В процессе их изучения возникает ряд соображений. Во-первых, на самом деле часто реализуется *не тот* исход, который большинство информированных современников считало наиболее вероятным: в этом отношении гипотетический сценарий в критический момент был для участников события “реальнее” событий, фактически последовавших далее.

Во-вторых, мы начинаем видеть, когда детерминистические теории действительно играют роль в истории: они работают тогда, когда люди верят в них и считают, что находятся в их власти. Как отмечалось выше, разница между хаосом в мире природы и хаосом в истории заключается в том, что человек – в отличие от газов, жидкостей и мелких организмов – обладает сознанием. Выживать запрограммированы не только его гены, но и *он сам* – и потому, прежде чем действовать в настоящем, он старается понять прошлое и на этом основании предсказать будущее. Проблема в том, что его предсказания часто основываются на несостоятельных теориях. Постулируя существование Высшей Сущности, Разума, Идеала, классовой борьбы, расовой борьбы или другой решающей силы, они вводят его в заблуждение, преувеличивая его способность давать точные прогнозы. Токвиль однажды заметил: “В политике можно сгнать от избытка памяти”, – однако ему стоило сказать “от избытка детерминистической историографии”. Различным образом вера в детерминистические теории сделала все анализируемые на этих страницах великие конфликты – английскую революцию, войну за независимость США, англо-ирландский конфликт, Первую мировую войну, Вторую мировую войну и холодную войну – скорее более, чем менее вероятными. В конце концов, как показывается в этой книге, погибшие в этих конфликтах стали жертвами поистине хаотических и непредсказуемых событий, которые могли бы сложиться иначе. Пожалуй, от непредвиденных последствий детерминистических пророчеств погибло не меньше людей, чем от их самосбывающихся тенденций. Тем не менее удивительно, что убийцы этих людей часто действовали во имя детерминистических теорий – религиозных, социалистических или расистских. В этом свете, возможно, лучший ответ на вопрос “Зачем вообще задавать гипотетические вопросы?” весьма прост: что, если мы не будем их задавать? Виртуальная история служит необходимым противоядием детерминизму.

В связи с этим нет нужды извиняться за то, что эта книга, по сути, представляет собой серию отдельных путешествий в “воображаемое время”. Она может напомнить научно-фантастический роман, в котором читателю предлагается сквозь несколько кротовых нор заглянуть в восемь параллельных вселенных. Однако предположения, на которых построена каждая из глав, не просто продукт фантазии и вымысла. Мир не управляется ни божеством, ни разумом, ни классовой борьбой, ни каким-либо другим детерминистическим “законом”. Наверняка мы можем сказать лишь то, что беспорядок в нем будет усиливаться по принципу стремящейся к максимуму энтропии. Историкам, изучающим его прошлое, следует все подвергать сомнению, поскольку артефакты, которые они считают свидетельствами, часто дошли до нас только по воле случая и поскольку, признавая артефакт историческим свидетельством, историк незамедлительно искажает его значимость. События, которые они пытаются восстановить на основании этих источников, изначально были “стохастическими” – иными словами, видимо хаотичными, – поскольку поведение материального мира определяется не только линейными, но и нелинейными уравнениями. Факт наличия человеческого сознания (которое невозможно описать уравнениями) только усиливает общее ощущение хаоса. В этих обсто-

яательствах нет смысла искать универсальные законы истории. В лучшем случае историки могут делать осторожные предположения о каузальности, ссылаясь на правдоподобные гипотетические альтернативы, смоделированные на основании оценки их вероятности. Наконец, выводы о вероятности альтернативных сценариев можно делать только на базе дошедших до наших дней рассуждений современников о будущем. Эти принципы можно считать манифестом новой “хаостории” – хаотического подхода к истории. Однако во многих отношениях они просто озвучивают то, чем многие историки занимались годами, уединившись в своих мыслях.

И последний вопрос: если бы эта книга не увидела свет, можно ли считать, что рано или поздно появилась бы подобная (возможно, более удачная) книга? Очень хочется сказать – и не только из скромности, – что так считать можно. В последние десятилетия представления о каузальности в науках изменились так сильно, что вполне логично предположить, что рано или поздно историки подхватили бы общий тренд. Более того, можно сказать, что, если бы нынешнее поколение историков уделяло бы математике, физике и даже палеонтологии столько же внимания, как социологии, антропологии и теории литературы, такая книга могла бы появиться и десять лет назад. Однако история развивается не так, как наука. Возможно, Кун прав насчет судорожного характера научных революций – тенденции устаревших “парадигм” сохранять господство некоторое время после их развенчания<sup>195</sup>. Но в конце концов парадигма сдвигается – и не в последнюю очередь за счет современной концентрации ресурсов на исследовании вопросов, которые кажутся важными. (Даже если вопрос оказывается неважным, рано или поздно это становится очевидно, как только снижается его отдача.) Исторические парадигмы меняются более беспорядочным образом. Вместо периодических “сдвигов” вперед современная историческая наука характеризуется заторможенным “ревизионизмом”, при котором ученики в основном занимаются подтверждением интерпретаций предыдущего поколения, лишь изредка (рискуя при этом собственной карьерой) подвергая сомнению их положения. Если порой возникает ощущение, что истории присущ циклический характер, существование которого на мировом уровне эта книга отрицает, то это лишь отражает свойственные профессии ограничения. Модные тенденции вроде “возрождения нарратива” прекрасно иллюстрируют склонность историка искать методологические новинки в прошлом, а не в будущем. По этой причине кажется разумным закончить на решительно вероятностной ноте. В этой книге нет ничего неизбежного. Точнее даже сказать, что точно такая книга не появилась бы, если бы не серия встреч историков-единомышленников, которой вполне могло бы и не случиться, и это приводит нас обратно к исконно хаотической природе повседневной жизни, описанной в самом начале этого введения. Считать ли реальный исход лучшим из множества нереализовавшихся, но правдоподобных альтернативных вариантов для каждого из описанных далее гипотетических сценариев – решать читателю.

<sup>195</sup> Kuhn Th. *The Structure of Scientific Revolutions*. 2<sup>nd</sup> ed. Chicago, 1970.

## Глава первая

### Англия без Кромвеля

#### *Что, если бы Карл I избежал гражданской войны?*<sup>196</sup>

#### Джон Адамсон

*Сами по себе, в отрыве от конституции, злоупотребления короны в отношении англичан вряд ли заслуживают упоминания. Они не были ни особенно обременительными в имущественном отношении, ни сколько-нибудь удивительными для рода людского... хотя возникали справедливые опасения, что подобные прецеденты, если с ними мириться, закончатся полным отказом от Парламента и установлением деспотической власти. Карл [I] не боялся оппозиции народа, который обычно не испытывает на себе влияние последствий и не начинает бунтовать против действующего правительства, не имея из ряда вон выходящего повода.*

*Давид Юм “История Англии” (1778), гл. LIII*

Между 1638 и 1640 гг., в свободное от налоговых кризисов и шотландских войн время, Карл I решил заняться более интересной задачей: проектированием нового королевского дворца в Уайтхолле. Выполненный в классическом стиле проект, разработанный талантливым учеником и ассистентом Иниго Джонса Джоном Уэббом, стал первым шагом к воплощению давнего желания короля заменить хаотичный и старомодный дворец, доставшийся ему в наследство от Тюдоров. Новый Уайтхолл должен был стать роскошной резиденцией двора, способной соперничать с великолепием Лувра и Эскориала. При наличии достаточного количества средств (что в 1638 г. было еще вполне выполнимо) строительство могли бы завершить к середине или концу 1640-х гг. Этот дворец наконец-то стал бы резиденцией правительства, соответствующего системе “единоличного правления”, которую Карл I установил после роспуска Парламента в 1629 г. По крайней мере до 1639 г. Карл еще представлял, как будет еще десяток лет, а то и больше править своим королевством, блистая среди барочных двориков и колоннад Уэбба<sup>197</sup>.

Такие амбициозные планы предполагали уверенность в том, что режим Карла I не только выстоит, но и расцветет. Была ли эта уверенность оправдана? Или же, как замечают многие историки, это была лишь безрассудная причуда темного и изолированного режима – еще один пример оторванности от жизни, свойственной двору Карла I? Ответы на эти вопросы редко рассматривались с исторической точки зрения. Две политические философии, оказавшие наибольшее влияние на историческую науку прошлого века, вигизм и марксизм, называли крах каролинского режима в 1630-е гг. “неизбежным”. Стремясь к укреплению королевской власти (а на практике – к расширению полномочий монарха), Карл I, подобно Кнуду, шел против исторических волн, контролировать которые королю было не под силу: усиления парламентской власти; веры в личную свободу, гарантированную общим правом; и даже, как некогда считалось, “подъемом джентри” (ближайшего аналога “буржуазии” Маркса, существовавшего

---

<sup>196</sup> Я благодарен доктору Ниалу Фергюсону, профессору Аллану Макиннесу, доктору Джону Моррилли, профессору графу Расселлу и доктору Дэвиду Скотту, прочитавшим первую версию этого очерка и сделавшим свои замечания.

<sup>197</sup> Датировка и анализ этой обширной серии планов и рисунков Уэбба приводятся в блестящей работе Маргарет Уинни: *John Webb's Drawings for Whitehall Palace // Proceedings of the Walpole Society* 31 (1942–1943). P. 45–107. Хотя один из этих рисунков помечен как “принятый” королем (лист XVIII), вероятность реализации этого проекта обычно получает скептическую оценку; см.: Mowl T. Earnshaw B. *Architecture without Kings: The Rise of Puritan Classicism under Cromwell*. Manchester, 1995. P. 85–87.

в семнадцатом веке в Англии). Как гласит теория, эти силы неумолимо стремились к тому, чтобы добиться парламентской победы в гражданских войнах 1640-х гг. и Славной революции 1688–1689 гг., прежде чем достичь высот парламентского правления в золотую пору Гладстона и Дизраэли. Сэмюэл Росон Гардинер – викторианский историк, работы которого и сто лет спустя остаются самым важным изложением истории правления Карла I, – полагал, что за противниками короля было будущее, а сделанные в 1640-х гг. парламентские предложения о реформе государственного управления “по всем ключевым параметрам предвосхитили систему, которая установилась в правление королевы Виктории”<sup>198</sup>. Стремясь установить единоличное правление – создать сильное монархическое правительство, не сдерживаемое парламентским контролем – в 1630-х гг., Карл I шел не только против своих критиков, но и против самой Истории.

Само собой, такие утверждения о неизбежности падения режима в последние годы подверглись жестокой “ревизионистской” критике<sup>199</sup>. И все же в менее очевидной форме мнение о том, что эксперимент Карла по созданию правительства без Парламента был изначально нежизнеспособен, и сегодня распространено достаточно широко, причем даже среди историков, которые отрицают телеологический подход марксистов и вигов. Политика короля была настолько непопулярна, что рано или поздно она была обречена вызвать восстание, а поскольку король был не в состоянии успешным образом вступить в войну без парламентского финансирования, Карл в буквальном смысле не мог позволить себе роскошь неограниченной королевской власти<sup>200</sup>. С этой точки зрения, великой королевской глупостью стало принятое в 1637 г. решение навязать “лодианскую” ревизию Книги общих молитв Церкви Шотландии, которой она казалась полной “католичества и суеверий”. Запущенная этим решением последовательность событий продемонстрировала политическую и финансовую невозможность поддержания непарламентского режима. Столкнувшись с полномасштабным восстанием в Шотландии, катализатором которого стала новая Книга молитв, король отказался идти на компромисс со своими критиками и решил силой восстановить королевскую власть в Шотландии<sup>201</sup>. Упорное нежелание короля уступать требованиям ковенантеров и его готовность сражаться – даже после провала кампании 1639 г., высказанных тайными советниками опасений и неспособности Короткого парламента профинансировать очередную войну в мае 1640 г. – привели к политическому и финансовому банкротству его режима. В августе 1640 г. ковенантеры победили во Второй епископской войне. Шотландская армия оккупировала север Англии, и в ноябре Парламент собрался в условиях, которые – впервые за время правления Карла – не дали королю распустить его, когда он того захотел. Как только были созваны обе палаты, королевских министров быстро призвали к ответу, а “инновации”, положенные в основу каролинского режима, – от огромных корабельных налогов до расположения престола на манер алтаря в приходских храмах – были по очереди признаны незаконными.

В большом количестве исследований о “падении британских монархий” подчеркивается в высшей степени случайный характер связей между этими событиями. Как утверждает про-

<sup>198</sup> Gardiner S. R. *History of the Great Civil War, 1642–1649*. vol. IV. 1893. P. 242. Гардинер писал о предложениях, выдвинутых Кромвелем и Айртоном в ноябре 1648 г.

<sup>199</sup> Hibbard C. *Charles I and the Popish Plot*. Chapel Hill, 1983; Donald P. *An Uncounselled King: Charles I and the Scottish Troubles*. Cambridge, 1990; Russell C. *The Causes of the English Civil War*. Oxford, 1990 и *The Fall of the British Monarchies, 1637–1642*. Oxford, 1991; Macinnes A. I. *Charles I and the Making of the Covenanting Movement, 1625–1641*. Edinburgh, 1991; Sharpe K. *The Personal Rule of Charles I*. New Haven, 1992; Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994; внесенный Джоном Морриллом важный вклад в дискуссию обобщен в его сборнике *The Nature of the English Revolution: Essays*. London, 1993.

<sup>200</sup> См., например: Cope E. S. *Politics without Parliaments, 1629–1640*. London, 1987; Reeve L. J. *Charles I and the Road to Personal Rule*. Cambridge, 1989. Хотя доктор Рив отрицает, что “Англия с начала века стояла на пути к гражданской войне”, он утверждает, что из-за специфики собственного характера Карл I должен был рано или поздно “пожать бурю” (*ibid.* Pp. 293, 296): в какой-то момент катастрофа стала практически неизбежна.

<sup>201</sup> Лучший современный обзор см. в работе: Macinnes A. I. *Charles I and the Making of the Covenanting Movement, 1625–1641*. Edinburgh, 1991. Chs. 5–7.

фессор Расселл, по крайней мере до февраля 1641 г. Карл мог достичь со своими шотландскими и английскими оппонентами *modus vivendi* и тем самым предотвратить гражданскую войну<sup>202</sup>. В настоящем эссе вопрос рассматривается несколько глубже: здесь спрашивается не только, мог ли Карл избежать гражданской войны, но и мог ли он разрешить шотландский кризис, не затронув структур единоличного правления. Мог ли Карл I и дальше править тремя своими королевствами, не обращаясь к Парламенту – что ему прекрасно удавалось по крайней мере до 1637 г., – в 1640-х гг. и далее? При рассмотрении этих вопросов становится очевидно, что переломным годом стал 1639-й. В настоящее время широко распространено мнение, что, если бы Карл не потерпел поражение при первой попытке подавить восстание ковенантеров (и не запустил бы тем самым катастрофическую последовательность событий), ему не пришлось бы в ноябре 1640 г. созывать Долгий парламент, который сразу принялся за разрушение системы единоличного правления. Если бы не военное поражение 1639 г., будущее каролинского режима сложилось бы совершенно иначе. Успех в борьбе с шотландцами принес бы короне престиж, а возможно и популярность, и устранил бы необходимость в созыве парламента в обозримом будущем – вероятно, еще на несколько десятков лет.

Отчасти сложность рассмотрения таких возможностей заключается в том, что они затрагивают сферы, где общепринятое представление о прошлом Англии укоренилось настолько прочно, что рассуждения об альтернативных вариантах развития кажутся почти немислимыми: Англия без эволюции сильного Парламента; без зарождения религиозного порядка, который был одновременно протестантским и (по крайней мере, в сравнении с большей частью Европы семнадцатого века) относительно толерантным; без системы общего права, в которой базовым принципом, определяющим отношения монарха с его подданными, была неприкосновенность частной собственности<sup>203</sup>. Если не считать крах каролинского режима “неизбежным”, ни один из этих аспектов истории нельзя назвать предопределенным. Траектория британской (и ирландской) истории стала бы совершенно иной: практически наверняка не случилось бы ни гражданской войны, ни цареубийства, ни Славной революции, а Оливер Кромвель построил бы ничем не примечательную карьеру в среде провинциального дворянства Или.

Нам было бы проще считать эти вопросы невинной игрой с моделями истории – одной из тех великосветских “салонных игр”, которые высмеивал Э. Х. Карр. И все же, как точно подметил Хью Тревор-Ропер, “история не просто описывает, что случилось: она описывает, что случилось, в контексте того, что могло бы произойти”<sup>204</sup>. А для современников – как в августе 1639 г. сообщил Эдвард Россингем – возможность победы короля в 1639 г. казалась реальной и правдоподобной, а не была поверхностной “гипотетической” спекуляцией<sup>205</sup>. Даже в августе 1640 г. главный инспектор королевского двора сэр Томас Джермин был уверен, что “этим неурядицам скоро придет очень благополучный и успешный конец”<sup>206</sup>. Взвешивая вероятности, государственный секретарь Уиндебанк согласился: “Я не слишком опасуюсь бунтовщиков”<sup>207</sup>. Давайте начнем с анализа обстоятельств войны 1639 г. Можно ли считать, что король

<sup>202</sup> Russell C. *Fall of the British Monarchies 1637–1642*. Oxford, 1991. Ch. 9.

<sup>203</sup> Тем не менее в ряде исследований всерьез рассматриваются некоторые из этих вариантов, см.: Parker G. *If the Armada Had Landed* // *History* 61 (1976). P. 358–368; Strong R. *Henry, Prince of Wales and England's Lost Renaissance*. London, 1986; Russell C. *The Catholic Wind* // Russell C. *Unrevolutionary England, 1603–1604*. London, 1990. P. 305–308; Gray Ch. M. *Parliament, Liberty and the Law* // Hexter J. H. (Ed.). *Parliament and Liberty from the Reign of Elizabeth to the English Civil War*. Stanford, 1992. P. 195–196.

<sup>204</sup> Trevor-Roper H. *History and Imagination* // Pearl V., Worden B. and Lloyd-Jones H. (Eds). *History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper*. London, 1981. P. 364.

<sup>205</sup> *British Library* (далее *BL*), Add. MS 11045, fol. 45r – v, [Edward Rossingham to Viscount Scudamore], 13 August 1639.

<sup>206</sup> *Bodleian Library*, Oxford (далее *Bodl. Lib.*), MS Tanner 65, fol. 100v, Sir Thomas Jermyn to Sir Robert Crane, 20 August 1640. (Я благодарен за ссылку доктору Дэвиду Скотту.)

<sup>207</sup> *Public Record Office* (далее *PRO*), SP 16/464/71, fol. 159, Sir Francis Windebanke to Viscount Conway, 22 August 1640.

и его ближайшие советники оказались заложниками ситуации? Или же Карл I мог выиграть военную кампанию против ковенантеров?

### Шотландия в 1639 году: упущенная победа

Решение Карла вступить в войну в 1639 г., не созывая Парламент, было расценено как показатель более глубокой (и в итоге роковой) безучастности его режима к обидчивости местных правящих элит Англии<sup>208</sup>. Ни один английский монарх со времен Эдуарда II, который отважился на это в 1323 г., не пытался развязать серьезную войну, не созывая две палаты Парламента – и это, судя по всему, не сулило ничего хорошего<sup>209</sup>. И все же были более современные и более успешные прецеденты. Елизавета I, которая могла тягаться с Карлом I в своей нелюбви к парламентам, в 1559–1560 гг. организовала успешную военную кампанию по изгнанию французов из шотландского Лоуденда, не обращая при этом к законодательной власти. В 1562 г. она снова вступила в войну и отправила экспедиционный корпус в Гавр, не созывая Парламент<sup>210</sup>. Само собой, обычно во время войны Парламент *созывался*, однако это не было *conditio sine qua non* для эффективной военной кампании.

Стоит отметить, что не только льстивые придворные считали, что в 1639 г. король мог вступить в войну, не прибегая к парламентским субсидиям для покупки победы. Изучая различные ресурсы, доступные королю в феврале 1639 г., Эдвард Монтегю – сын пуританского нортгемптонширского лорда Монтегю из Ботона – полагал, что все очевидно: “королю не потребуется Парламент”<sup>211</sup>. В 1639 г. Карл и члены королевского совета планировали начать войну таким образом, чтобы подвергнуть проверке и (как они надеялись) в то же время консолидировать традиционные институты, которые король хотел сделать опорой единоличного правления. Были восстановлены и расширены древние фискальные прерогативы короны (включая такие феодальные повинности, как щитовой сбор и пограничную службу подданных из северных пограничных графств), а полномочия региональных лордов-наместников (ответственных за армию каждого из графств), их заместителей и местных магистратов (мировых судей) при мобилизации местного населения были расширены до предела. Результаты различались – от образцовых до смехотворных. Однако к весне 1639 г., не прибегая к поддержке Парламента и полагаясь исключительно на административные структуры единоличного правления, Англия оказалась на пороге крупнейшей мобилизации со времен испанских войн 1580-х годов.

Разработанная Карлом зимой 1638–1639 гг. стратегия разгрома ковенантеров предполагала совместные действия армии и флота. В нее входило четыре ключевых элемента<sup>212</sup>. Первым были десантные войска маркиза Гамильтона (в высшей степени сочувствующего Англии шотландского вельможи, который был генералом королевских войск в Шотландии), насчитывавшие 5000 человек на восьми военных судах и тридцати транспортниках (это были ощутимые результаты сбора корабельных налогов в 1630-х гг.). В их задачу входила блокада Эдинбурга и организация плацдарма на восточном побережье Шотландии<sup>213</sup>. Вторым элементом была

<sup>208</sup> Недавно традиционный взгляд был пересмотрен в работе: Cope E. S. *Politics without Parliaments, 1629–1640*. London, 1987. Pp. 153–154, 163–177.

<sup>209</sup> Russell C. *The Nature of a Parliament in Early Stuart England* // Tomlinson H. (Ed.). *Before the English Civil War: Essays in Early Stuart Politics and Government*. London, 1983. P. 129.

<sup>210</sup> Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 8.

<sup>211</sup> *Historical Manuscripts Commission, Buccleuch and Queensberry (Montagu House) MSS*. 3 Vols. 1899–1926. Vol. I. P. 276, Edward Montagu to the 1st Lord Montagu of Boughton, 9 February 1639. (Благодарю за ссылку профессора Фиссела.)

<sup>212</sup> Лучший современный обзор кампании 1639 г. см. в работе: Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. Pp. 3–39.

<sup>213</sup> Macinnes A. I. *Charles I and the Making of the Covenanted Movement, 1625–1641*. Edinburgh, 1991. P. 193; Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 5; наиболее полную оценку роли Гамильтона можно найти в работе: Scally J. J. *The Political Career of James, 3rd Marquis and 1st Duke of Hamilton (1606–1649) to 1643*.

атака на западное побережье Шотландии, возглавляемая изворотливым политиком Рандалом Макдоннелом, 2-м графом Антримом, в задачу которого входило разделение сил ковенантеров и их разгром на западе. Третий элемент стратегии должен был обеспечить верный наместник короля, лорд-депутат Ирландии Уэнтуорт: планировалось, что он высадится на западном побережье Шотландии, поддержит предполагаемое наступление Антрима и оставит 10 000 ирландских солдат (в основном католиков) на расстоянии возможного удара от Эдинбурга. Четвертым, главным, элементом наступления была мобилизация английской армии. Она должна была подойти к реке Твид (естественной границе между Англией и Шотландией) и быть готовой не только отражать набеги ковенантеров на всем протяжении английской границы, но и при необходимости форсировать Твид и вступить в войну на землях ковенантеров. Вне зависимости от того, намеревался ли Карл по-прежнему вернуть себе Эдинбургский замок – как он планировал изначально,<sup>214</sup> – приготовления артиллерийско-технической службы к кампании не позволяют усомниться, что рассматривалась возможность взятия шотландских крепостей штурмом<sup>215</sup>. Карл хотел быть готовым к началу наступательной войны.

Этому плану не суждено было сбыться. Все войны, спонсирует их Парламент или нет, обычно проверяют казну на прочность, и война 1639 г. не стала исключением<sup>216</sup>. В 1639 г. из казны выделили относительно небольшую сумму – около 200 000 фунтов стерлингов, – и это почти наверняка повлекло за собой недооценку расходов<sup>217</sup>. Однако несоразмерность казенного снабжения была отчасти компенсирована достаточно крупными суммами, собранными местными джентри и потраченными на нужды ополчения. (В марте 1639 г. одни только йоркширские джентри утверждали, что потратили 20 000 фунтов, хотя это не нашло отражения в записях казначейства.)<sup>218</sup> Пожалуй, главным недостатком стратегии был тот факт, что она не предполагала оказания своевременной поддержки сопротивлению ковенантерам, возглавляемому католиком маркизом Хантли и его сыном лордом Эбойном на северо-востоке шотландского Хайленда, в результате чего король упустил возможность создать в Шотландии ядро “роялистской партии” в 1639 г.<sup>219</sup> Остальные элементы стратегии Карла не оправдали себя, из-за чего от них пришлось отказаться. Рекрутов Уэнтуорта не удалось мобилизовать вовремя. Антрим тоже не сумел отправить обещанное количество солдат. Гамильтона одолевали серьезные сомнения относительно рекрутов из Восточной Англии, которых отдали под его командование. Когда пэров созвали в Йорке, чтобы они одобрили кампанию, лорды Сэй и Брук организовали провокационный публичный протест против непарламентских методов, которые Карл использовал для ведения войны. Двадцать второго мая также случилось злоеющее солнечное затмение.

---

(University of Cambridge, Ph.D. dissertation, 1993).

<sup>214</sup> *Bodl. Lib.*, MS Clarendon 16, fol. 20, Sir Francis Windebanke to Sir Arthur Hopton, 15 March 1639.

<sup>215</sup> *PRO*, WO 49/68, fol. 22v – 23.

<sup>216</sup> Alsop J. D. *Government, Finance, and the Community of the Exchequer* // Haigh Chr. (Ed.). *The Reign of Elizabeth I*. London, 1984. P. 101–23; Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. Pp. 137–143. Профессор Фиссел заключает (p. 151): “Ожидалось, что казна исполнит задачу, которая в то время была ей не под силу. Однако тот факт, что деньги [затребованные королем на военную кампанию] *в конце концов* были выделены, демонстрирует жизнеспособность института и выдержку персонала”.

<sup>217</sup> *PRO*, E 403/2568, fol. 72.

<sup>218</sup> *PRO*, SP 16/414/93, fol. 219, deputy lieutenants of Yorks. to Sir Jacob Astley, c. 14 March 1639.

<sup>219</sup> Гамильтон, к примеру, понимал стратегическое значение северо-востока и отправил три своих военных судна в Абердин в начале 1639 г., тем самым усилив роялистское сопротивление движению ковенантеров в регионе. Однако этого было недостаточно, чтобы спасти вооруженных роялистов Хантли от поражения в битве с ковенантерами (под командованием Монтроза) в апреле. Впрочем, на потенциальный ущерб, который могла нанести должным образом поддержанная кампания роялистов на северо-востоке, намекает возобновленная весной 1639 г. кампания Абойна (второго сына Хантли). Хотя английская армия не поддержала эту кампанию, ковенантеры сумели подавить сопротивление Абойна только 20 июня 1639 г., через два дня после заключения Бервикского мира. Macinnes A. I. *Charles I and the Making of the Covenanting Movement, 1625–1641*. Edinburgh, 1991. P. 193; Gordon P. *A Short Abridgement of Britane's Distempter, 1639 to 1649*. Spalding Club, Aberdeen, 1844. Pp. 12–28. (Я благодарен профессору Аллану Макиннесу за обсуждение этого вопроса.)

Однако мобилизация продолжалась, так что надежда еще не была потеряна. С энтузиазмом поддержал мобилизацию Йоркшир, который рассматривался в качестве основной мишени шотландского наступления, в связи с чем поддержка местных джентри считалась критически важной для успеха кампании. Отклик этого графства впечатлил даже строгого командующего Уэнтуорта – президента Совета Севера, – который написал заместителям командующего территориальной армией Йоркшира (ответственным за созыв ополчения), похвалив их “верность и мудрость, которые нашли выражение в славном проявлении чувства долга... когда вы выразили готовность явиться в распоряжение [Его величества]”<sup>220</sup>. Когда 30 марта 1639 г. король прибыл в Йорк, чтобы обосноваться там и лично наблюдать за приготовлениями к грядущей кампании, его встретили стихийными демонстрациями преданности. “Титулованное дворянство и джентри северных земель радостно приветствовали придворных, как и командующие отрядами ополчения, которые выражали готовность служить Его величеству в этом походе во имя защиты страны”<sup>221</sup>. К середине апреля Гамильтон с удовольствием осознал, что его прежний пессимизм был необоснован, а “отряды солдат [под его командованием], в целом, прекрасно обучены, хорошо одеты и вооружены не так плохо, как [он] опасался”<sup>222</sup>. Хотя каролинский режим и вышел на предел своих возможностей, он все же не падал. К концу мая 1639 г. он сумел собрать армию численностью от 16 000 до 20 000 человек, что было сравнимо с созданной в ходе Гражданской войны Армией нового образца (которая редко достигала своей формальной численности в 21 400 солдат) и более чем в три раза превышало размер английского войска, разгромившего шотландцев при Данбаре в 1650-м<sup>223</sup>. Когда войска Карла с “огромной пышностью и помпой” вышли из Йорка и направились к границе, чтобы начать кампанию, ничто не намекало, что кто-либо рассматривал возможность иного исхода, кроме победы короля<sup>224</sup>. В мае, когда его армия была собрана и начались учения, боевой дух укрепился, а некогда разношерстные рекрутские отряды постепенно превратились в серьезную боевую силу. “Если мы вступим в бой, это будет самая кровавая битва в истории, – хвалился полковник Флитвуд, – ведь мы готовы открыто бросить вызов [бунтовщикам]; наш дух силен, и сноровка не подведет”<sup>225</sup>. Король был совершенно объективен, когда описал собранные к началу июня войска как пребывающие “в заметно хорошем состоянии и жаждущие увидеть своих врагов в лицо”. Карл был напорист и “более не собирался терпеть неповиновения”<sup>226</sup>.

И все же 4 и 5 июня 1639 г., когда две армии подошли вплотную друг к другу, короля вдруг стали одолевать сомнения. Граф Холланд, командовавший разведывательной группой, в которую входило 3000 пехотинцев и 1000 кавалеристов, 4 июня встретился с шотландской армией в Келсо и решил отступить, ошибочно посчитав, что шотландское войско гораздо более многочисленно<sup>227</sup>. Пятого июня командующий ковенантерами Александр Лесли укрепил это

<sup>220</sup> *Sheffield Central Library*, Wentworth Woodhouse Muniments, Strafford Papers 10 (250–1) a, Viscount Wentworth to the deputy lieutenants of Yorks., 15 February 1639. (Эту и последующие ссылки в этом абзаце я почерпнул из готовящейся к публикации статьи доктора Дэвида Скотта из лондонского фонда “История Парламента” о реакции Йоркшира на две епископские войны. Я благодарю доктора Скотта за позволение сослаться на его статью до ее выхода в свет.)

<sup>221</sup> Rushworth J. *Historical Collections*. Part II (1680). Vol. II. P. 908; ср.: *Sheffield Central Library*, Wentworth Woodhouse Muniments, Strafford Papers, 19 (29), Sir William Savile to Viscount Wentworth, 26 April 1639.

<sup>222</sup> *Scottish Record Office*, Hamilton MS GD 406/1/11144, 19 April 1639.

<sup>223</sup> Численность Армии нового образца приводится в работе: Gentles I. *The New Model Army in England, Ireland, and Scotland*, 1645–1653. Oxford, 1992. Pp. 10, 392.

<sup>224</sup> *Yorks*. Archaeological Society Library, Leeds, DD53/III/544 (Annals of York), unfol.

<sup>225</sup> *Bodl. Lib.*, MS Ashmole 800 (Misc. political papers), fol. 51v (first series of foliation), Colonel Fleetwood to his father, Sir Giles Fleetwood, York, 5 April 1639.

<sup>226</sup> *BL*, Add. MS 11045, fol. 27, [Edward Rossingham to Viscount Scudamore], 11 June 1639.

<sup>227</sup> Существует вероятность, что, сообщая королю о численности ковенантеров, Холланд намеренно завысил цифры, чтобы отговорить Карла от вступления в битву, см.: Russell C. *Fall of the British Monarchies 1637–1642*. Oxford, 1991. З. 63. Руководство ковенантеров (вероятно, вполне обоснованно) считало, что Холланд симпатизирует их движению, и несколькими неделями ранее использовало его в качестве “посредника” при попытке связаться с наиболее влиятельными английскими ари-

зablуждение, собрав шотландскую армию на Дунском холме на северном берегу реки Твид в пределах видимости королевской армии, чтобы создать обманчивое представление о численности войска<sup>228</sup>. Ближе армии так и не сошлись. Опасаясь разногласий в командовании и из-за тактики ковенантеров полагая, что армия противника существенно превосходит его собственную, король решил, что вторжение в Шотландию теперь невозможно<sup>229</sup>. Вместо этого он сделал ставку на переговоры, чтобы оттянуть время, не рискуя при этом столкновением, в котором, как ему казалось, противник имеет колоссальный перевес. Шестого июня командование ковенантеров, которое не меньше короля хотело избежать битвы, предложило Карлу заключить перемирие, и тот быстро согласился<sup>230</sup>.

Это решение вступить в переговоры с ковенантерами в июне 1639 г. стало, возможно, величайшей ошибкой в жизни Карла. Заключенный в итоге Бервикский мир позволил королю вернуть контроль над его шотландскими крепостями (включая Эдинбургский замок) и исполнил его требование о роспуске повстанческого правительства ковенантеров, так называемых “Четырех столов”<sup>231</sup>, однако взамен король обязался допустить созыв шотландского парламента и Генеральной ассамблеи Шотландской церкви. Было вероятно, что первый предъявит жесткие требования к заочному отправлению власти Карла над Шотландией, а вторая одобрит упразднение епископата в Шотландской церкви. Поскольку ни одна из перспектив не была приемлема для короля, этот мирный договор лишь дал ему отсрочку. Чтобы поставить Шотландию на колени, он должен был снова начать войну. Более серьезной была реакция на это военное поражение в Англии. Участникам английской мобилизации казалось, что их время и деньги были выброшены на ветер – как теперь представлялось, “безуспешно, бесплодно и напрасно”<sup>232</sup>. К кампании было подготовлено многочисленное войско, но победу упустили без единого выстрела.

И все же решение короля вступить в переговоры было основано на элементарном просчете. Оценки численности и мощи шотландской армии, от которых отталкивался Карл, были сильно раздуты. На самом деле королевская армия в начале июня 1639 г. была равна по численности войску ковенантеров или даже превосходила его – возможно даже, на целых 4000 человек<sup>233</sup>. Как заметил в то время сэр Джон Темпл, английская армия росла каждодневно и численность кавалерии (самого важного в тактическом отношении подразделения войска) уже дошла

---

стократами. Кажется крайне маловероятным, что на Дунском холме он дал королю непредвзятый совет. *National Library of Scotland, Crawford MS 14/3/35 (pauenee в John Rylands Library (Manchester)), 25 May 1639 (for the approach from the Covenanters).* (Я благодарен за наводку профессору Расселлу.)

<sup>228</sup> Aston J. *Iter Boreale, Anno Salutis 1639* // Hodgson J. C. (Ed.). *Six North Country Diaries.* (Surtees Soc. 118). Durham, 1910. P. 24 (printing *BL*, Add. MS 28566). Henry Guthrie, Bishop of Dunkeld, *Memoirs [of]... the Conspiracies and Rebellion against King Charles I.* 1702. Pp. 49–50 (printing Clark Memorial Library, Los Angeles, MS O14M3/c. 1640/Bound, ‘Observations upon the arise and progresse of the late Rebellion’).

<sup>229</sup> *Scottish Record Office, Hamilton MS GD 406/1/1179, Sir Henry Vane Sr to Hamilton, 4 June 1639.* В этом письме излагаются сомнения короля: “Его величество теперь отчетливо понимает и полностью осознает, что обсуждавшееся в галерее [Уайтхолла] при участии Его величества, вашей светлости [Гамильтона] и меня самого в высшей степени оправдалось в этом случае”. Напечатавший это письмо Нэлсон, вероятно, точно толкует разговор в галерее, когда предполагает, что речь в нем шла о нежелании английских пэров и джентри “вторгаться в Шотландию”. Nalson J. *An Impartial Collection of the Great Affairs of State.* 2 vols. (1682–1683). Vol. I. P. 230.

<sup>230</sup> Nalson J. *An Impartial Collection of the Great Affairs of State.* 2 vols. (1682–1683). Vol. I. Pp. 231–233. Складывается впечатление, что нет никаких оснований предполагать, что переговоры начал король, см.: Gardiner S. R. *History of England.* 10 vols. vol. IX. London, 1891. P. 36; Sharpe K. *The Personal Rule of Charles I.* New Haven, 1992. P. 808.

<sup>231</sup> На практике, однако, это условие было выполнено лишь частично: “пятый стол” (руководство ковенантеров) функционировал в качестве временного института до февраля следующего года, хотя это противоречило условиям мирного договора. (Я благодарен профессору Макиннесу за обсуждение этого вопроса.)

<sup>232</sup> Sharpe K. *The Personal Rule of Charles I.* New Haven, 1992. P. 809.

<sup>233</sup> Furgol E. M. *The Religious Aspects of the Scottish Covenanting Armies, 1639–1651.* (University of Oxford, D. Phil. dissertation, 1982). Pp. 3, 7. Оценки доктора Фаргола принимаются профессором Фисселом, который дает самый подробный современный обзор кампаний: Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640.* Cambridge, 1994. P. 31n.

до 4000 человек<sup>234</sup>. Когда Холланд встретился с войсками Лесли у Келсо, моральное состояние шотландцев оставляло желать лучшего. “Солдаты шотландской армии [у Келсо] искренне верили, – гласило одно донесение английской разведки, – что, если бы дело дошло до битвы, мы [англичане] разгромили бы их”<sup>235</sup>. Более того, шотландцев одолевала острая нехватка продовольствия, оружия и живых денег<sup>236</sup>. К началу июня в армии Лесли началось дезертирство. Рано или поздно распространились бы сведения об истинном состоянии его войска. Даже самый строгий современный критик огрехов каролинского режима при проведении этой кампании согласится, что в июне 1639 г. король был на грани успеха. “Как ни парадоксально, Карл был гораздо ближе к победе, чем он мог представить. Если бы он отложил переговоры еще на неделю-другую, шотландская армия, вероятно, распалась бы, поскольку ее запасы денег и продовольствия были на исходе”<sup>237</sup>. Учитывая, что королевская армия при этом осталась бы невредимой, Карл смог бы без проблем одолеть Эдинбург. Шестого июня предводители ковенантеров попросили перемирия, а двумя неделями позже они бы, скорее всего, капитулировали.

Современникам Карла подтекст был очевиден. Эдвард Россингем, который был, пожалуй, информирован лучше остальных корреспондентов, в августе 1639 г. выразил общее мнение: “Я слышал, многие трезвомыслящие люди полагают, что, если бы Его величество воспользовался своим преимуществом, чтобы наказать [шотландцев] за дерзость, он мог бы взять Эдинбург и посеять среди них такое смятение, что простой народ точно вынужден был бы покинуть своих господ [из числа ковенантеров]”<sup>238</sup>. Несмотря на все проблемы, которые королю чинили неповоротливые командиры учений, непокорные аристократы вроде лордов Сэя и Брука и перегруженные работой чиновники артиллерийско-технической службы, современникам казалось, что Карл I мог выйти победителем из войны 1639 г.

### Судьба пуританства: старение и упадок?

Представим, что “трезвомыслящие люди” летом 1639 г. были правы и король вступил в битву с “бунтарями”-ковенантерами и победил – или обеспечил себе преимущество, просто дождавшись, пока шотландское войско расформируется. Каковы были шансы режима выстоять и продержаться в течение 1640-х гг. и далее, если бы корона одержала победу в 1639-м? Можно высказать несколько замечаний к такому сценарию. Даже если списать со счетов вигскую и марксистскую телеологию, все равно есть основания заметить, что изучение случайных обстоятельств конкретного исторического момента нельзя считать корректным критерием оценки долгосрочных шансов правительства на успех. Контраргумент может быть таким: победа 1639 г. не предоставила бы долгосрочной гарантии выживания режима, а лишь принесла бы временное облегчение. Разве режим не пал бы рано или поздно под давлением английских оппонентов даже без своевременной помощи шотландцев?

Любая оценка вероятности выживания каролинского режима должна начинаться с анализа его способности сопротивляться потенциальным источникам политического давления или хотя бы нейтрализовать их<sup>239</sup>. В Англии – самом богатом и населенном из трех коро-

<sup>234</sup> Bruce J. (Ed.). *Letters and Papers of the Verney Family*. (Camden Soc. 56). 1853. P. 251.

<sup>235</sup> *BL*, Add. MS 11045, fol. 32r, [Rossingham to Viscount Scudamore], 25 June 1639.

<sup>236</sup> Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 31n; Stevenson D. *The Financing of the Cause of the Covenants, 1638–1651* // *Scottish Historical Review* 51 (1972). P. 89–94.

<sup>237</sup> Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 38.

<sup>238</sup> *BL*, Add. MS 11045, fol. 45, [Rossingham to Viscount Scudamore], 13 August 1639.

<sup>239</sup> Недавно было высказано мнение, что правительство Карла в принципе “не было в полной мере стабильно” на протяжении 1630-х гг., поскольку “оно не опиралось, подобно правительствам Елизаветы I и его отца [Якова I], на фундамент согласия” (Reeve L. J. *Charles I and the Road to Personal Rule*. Cambridge, 1989. P. 296). Однако возникает вопрос: чьего согла-

левств Карла I – потенциальных источников давления было мало, причем они были разбросаны по стране. Карлу была на руку “демилитаризация” аристократии, практически завершившаяся к моменту его восшествия на престол в 1625 г. Наблюдавшийся в шестнадцатом веке стремительный технический прогресс в сфере вооружения и военного дела сделал старые арсеналы аристократов бесполезными<sup>240</sup>. Провал восстания графа Эссекса в 1601 г., по словам Конрада Расселла, ознаменовал “момент, когда угроза применения силы перестала быть надежным оружием английской политики”<sup>241</sup>. Если в 1630-х и были люди, которые хотели усмирить Карла I, им приходилось признать, что его английские подданные вряд ли пойдут на такое – каким бы непопулярным ни стал его режим<sup>242</sup>.

Если предполагалось не просто бросить вызов Карлу I, а усмирить его, ресурсы для этого необходимо было найти за пределами Англии. Ирландия, где с 1633 г. железной рукой правил лорд-депутат Уэнтуорт (будущий граф Страффорд), время от времени причиняла беспокойство, однако не представляла непосредственной угрозы вооруженного сопротивления короне<sup>243</sup>. Только в Шотландии, которую еще практически не тронула “военная революция” и где в частных руках по-прежнему оставались крупные арсеналы, сохранялась вероятность, что подданные короля поднимут частные войска против режима. Если бы ковенантеры не добились военных успехов в 1639 и 1640 гг., а в 1640 и 1641 гг. победоносные шотландцы не вступили бы в тайный сговор с английскими противниками Карла, Долгий парламент, подобно всем своим предшественникам, оказался бы бессилем подчинить Карла собственной воле<sup>244</sup>. Если бы в 1639 г. была одержана победа над Шотландией, вероятность подавления Карла его же подданными оказалась бы низкой.

Итак, в случае королевской победы в 1639 г. дальнейшее вооруженное восстание казалось маловероятным, однако были и другие, потенциально более опасные испытания, с которыми пришлось бы столкнуться режиму. Часто отмечается, что два аспекта развития английской политической культуры представляли собой непреодолимые препятствия для единоличного правления: во-первых, подъем революционного пуританства, которое в итоге достигло зенита в 1640-х гг., а во-вторых, лавина правовых и конституционных возражений политике “автократического правительства” – всевозможным непарламентским поборам, от корабельных денег

---

сия? Чтобы править страной, Карл не нуждался в одобрении народа. Хотя нежелание джентри предоставлять свое “согласие” и могло усложнить управление на местах, в отсутствие успешного восстания подданные Карла были серьезно ограничены в способах выражения собственного неодобрения.

<sup>240</sup> Parker G. *The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West, 1500–1800*. Cambridge, 1988. Ch. 1.

<sup>241</sup> Russell C. *The Scottish Party in English Parliaments, 1630–1642, or, The Myth of the English Revolution*. (Inaugural Lecture, King's College). London, 1991. P. 8. Хотя королевство было “демилитаризовано”, поскольку властью собирать и вооружать войска из своих приближенных обладали лишь немногочисленные аристократы, в обществе и в 1640-х сохранялась вера, что служить положено по статусу всем вышестоящим джентри и пэрам. Существует множество примеров, когда представители обоих сословий следили за развитием и совершенствованием методов ведения войны в Европе (либо читая об этом, либо узнавая все на собственном опыте). Donagan B. *Codes and Conduct in the English Civil War // Past and Present* 118 (1982). P. 65–95; Adamson J. S. A. *Chivalry and Political Culture in Caroline England // Sharpe K., Lake P. (Eds.). Culture and Politics in Early Stuart England*. London, 1994. P. 161–197.

<sup>242</sup> В готовящейся к публикации работе доктор Барбара Донаган (Библиотека Хантингтона) приводит свидетельства, что некоторые английские домохозяйства в 1630-е гг. обладали достаточно крупными частными арсеналами. Несмотря на это, в отсутствие (при распущенном Парламенте) общепризнанной инстанции для санкционирования и координации их использования восстание в Англии в период единоличного правления Карла I оставалось маловероятным. Кроме того, политическая элита не считала вооруженное сопротивление реалистичным и вообще целесообразным. (Я благодарен доктору Джону Морриллу за обсуждение этого вопроса.)

<sup>243</sup> Kearney H. *Strafford in Ireland, 1633–1641: A Study in Absolutism*. 2<sup>nd</sup> ed. Cambridge, 1989. Восстание в Ирландии началось только *после* того, как Страффорда сняли с поста лорда-депутата в 1641 г. Кроме того, оно было направлено не против наместника-тирана, а против английского Парламента, который, как казалось, попал под контроль хунты, состоящей исключительно из воинственных протестантов – противников короны. См.: Russell C. *The British Background to the Irish Rebellion of 1641 // Historical Research* 61 (1988). P. 166–182.

<sup>244</sup> Свидетельства этого заговора см. в работе: Donald P. *New Light on the Anglo-Scottish Contacts of 1640 // Historical Research* 62 (1989). P. 221–229.

до штрафов за нарушение лесных законов, власти Звездной палаты и чрезвычайных судов и высокомерного безразличия короны к свободам подданных и традициям общего права<sup>245</sup>.

Силой, которая, пожалуй, внесла наибольший вклад в дестабилизацию английского общества в конце 1630-х и начале 1640-х гг., стал страх, что правительство и Церковь Англии вот-вот падут под натиском некоего папистского заговора<sup>246</sup>. В непосредственном контексте последних лет единоличного правления субсидии английских католиков на военную кампанию 1639 г. и прием папских послов при дворе породили слухи о католическом вторжении – и чем дальше, тем нелепее становились эти слухи<sup>247</sup>. В отсутствие антикатолических страхов и скандалов 1639–1641 гг. невозможно представить, чтобы градус политической напряженности в Вестминстере (и в провинциях) достиг бы того уровня, на котором стала бы вероятной гражданская война<sup>248</sup>.

И все же размах и убедительность этой католической угрозы были по крайней мере в той же степени обусловлены происходившими в Европе событиями, в какой они объяснялись отношением ко двору Карла I и Тайному совету на родине. Вести о тяготах, выпадавших на долю протестантов в Тридцатилетней войне, неизбежно оказывали влияние на английскую оценку угрозы, таящейся во внутренних католических заговорах, которые казались гораздо более страшными, чем они на самом деле были. Поговаривали, что, если Габсбурги и их испанские союзники одержат верх в Европе, судьба протестантизма в Англии повиснет на волоске. В глазах многих убежденных английских протестантов Тридцатилетняя война была апокалиптической битвой, столкновением Антихриста с праведниками – реальным воплощением битвы святого Михаила с Антихристом, описанной в Книге Откровения, – и считали так не только фанатичные пуритане, но и такие “передовые” английские протестанты, как архиепископ Аббот (предшественник Лода на посту архиепископа Кентерберийского)<sup>249</sup>. Шотландские кризисы 1639 и 1640 гг. (и созванные в связи с ними Парламенты), таким образом, пришлись как раз на то время, когда Тридцатилетняя война приближалась к кульминации, а английские опасения о воинственности католиков в Европе были сильнее, чем когда-либо со времен Испанской Армады.

Но если в конце 1630-х и начале 1640-х гг. английская элита как никогда беспокоилась об агрессивности Габсбургов – и была как никогда восприимчива к рассказам о папистской пятой колонне на родине, – то в первые годы 1640-х гг. стало отмечаться снижение уровня воспринимаемой угрозы. Это снижение продолжилось и в 1650-х гг. Испания, которая некогда считалась самой грозной католической державой, была ослаблена внутренним восстанием 1640 г. Армии Габсбургов в 1643 г. потерпели поражение от Конде в битве при Рокруа (и потому сразу лишились своей репутации неуязвимых в бою), а к середине 1640-х крестовый поход по восстановлению католичества в Европе явно исчерпал себя. В 1648 г. война закончилась.

---

<sup>245</sup> Свидетельства современников о таком восприятии режима Карла см. в работе: Morrill J. *Charles I, Tyranny, and the English Civil War* // Morrill J. *The Nature of the English Revolution: Essays*. London, 1993. P. 285–306.

<sup>246</sup> Даже наиболее склонный к ревизионизму историк признает, что “страх папства” значительно дестабилизировал режим Карла I в конце 1630-х и начале 1640-х гг.: см. Sharpe K. *The Personal Rule of Charles I*. New Haven, 1992. Pp. 304, 842–844, 910–914, 938–939.

<sup>247</sup> *John Rylands Library*, University of Manchester, Eng. MS 737 (Papers relating to Catholic contributions, 1639), fol. 3a, 5–6, см. также: Hibbard C. *The Contribution of 1639: Court and Country Catholicism* // *Recusant History* 16 (1982–1983). P. 42–60.

<sup>248</sup> В 1641 и 1642 гг. сообщения о коварном “папистском заговоре” дали противникам короля в Долгом парламенте железное основание для присвоения “чрезвычайной власти” и создания партии (сначала в рамках Парламента, а затем и на всей территории страны) с целью защиты протестантской веры и “спасения” короля из лап его подлых советников. Эти слухи изложены в работах: Hibbard C. *Charles I and the Popish Plot*. Chapel Hill, 1983. Pp. 168–238; Fletcher A. *The Outbreak of the English Civil War*. London, 1981. Chs. 4–5.

<sup>249</sup> Milton A. *Catholic and Reformed: The Roman and Protestant Churches in English and Protestant Thought, 1600–1640*. Cambridge, 1995. P. 93–127.

Если бы каролинский режим выстоял в бурях конца 1630-х гг., ему пошло бы на пользу улучшение конфессиональной политики в Европе, где к середине 1640-х гг. выживание протестантизма казалось гарантированным. Как заметил профессор Хирст, этот апокалиптический страх воинствующего католицизма был одним из главных факторов, поддерживающих пуританскую воинственность в Англии середины семнадцатого века. Как только католическая угроза притупилась, “тень Антихриста рассеялась”, а “затухание антикатолицизма... помогло сдержать реформистский пыл”. К концу 1640-х и в 1650-х заявления о том, что протестантизм вот-вот станет жертвой католического Левиафана, уже казались пустыми словами – и эта смена обстоятельств значительно поспособствовала “краху благочестивого правления” 1650-х гг.<sup>250</sup> Если бы в 1640-х и 1650-х гг. сохранился каролинский режим, а Долгий парламент и правительство Кромвеля не оказали бы рьяной поддержки пуританству, его “крах”, возможно, случился бы еще раньше.

Кажется вероятным, что другие факторы со временем ослабили бы позиции противников Карла I. К 1640-м гг. многие ведущие критики режима уже постарели. Далекое не все они дожили до такого почтенного возраста, как седовласый елизаветинец граф Малгрейв, который входил в число двенадцати пэров, в августе 1640 г. составивших петицию, призывая Карла созвать Долгий парламент, и проголосовал за создание Армии нового образца в 1645 г., в то время как в 1588-м он был капитаном судна, участвовавшего в столкновении с Испанской армадой. Однако подавляющее большинство наиболее влиятельных противников Карла принадлежало к поколению, которое родилось в 1580-е и 1590-е гг., когда угроза уничтожения английского протестантизма габсбургской Испанией была весьма реальна. Их религиозные представления сформировались между 1590 и 1620 гг. – на пике кальвинистского влияния на теологию английской церкви. Однако к 1640 г. некоторые наиболее красноречивые (и, по мнению Карла, наиболее ретивые) представители этого поколения уже скончались: сэр Джон Элиот, которого заключили в тюрьму после роспуска Парламента в 1629 г., умер в 1632-м (без сомнения, его кончину приблизили условия его заключения); великий юрист сэр Эдвард Кок (1552 г. р.), который доставил королю столько хлопот во время парламентских сессий 1620-х, умер в 1634 г.; еще один резкий критик правительства Карла I сэр Натаниэль Рич, который “вполне мог считаться предводителем парламентариев”, умер в 1636 г.<sup>251</sup> Другие скончались к середине 1640-х: лидер аристократической антиправительственной коалиции 1640 г. Бедфорд (1593 г. р.) скончался в 1641 г.; Джон Пим – в 1643-м; Уильям Строуд – в 1645-м; парламентский главнокомандующий первых лет гражданской войны Эссекс (1591 г. р.) умер в 1646-м. Получается, что из двенадцати подписавших петицию 1640 г. пэров, стоявших в авангарде движения за созыв Парламента, половина скончалась к 1646 г. – и все, кроме одного, умерли своей смертью<sup>252</sup>. В 1639 г. Карлу не было и сорока, а ряды его ведущих критиков стремительно редели. Как однажды заметил сэр Кит Филлинг, “пока есть смерть, есть и надежда”. В этом отношении каролинскому режиму было бы на что надеяться, если бы он пережил Шотландский кризис.

Более резкий свет на зависимость между возрастом и оценкой каролинского режима проливается при рассмотрении подробной статистики Палаты общин 1640-х гг. Если проанализировать взгляды 538 членов Палаты общин, убеждения которых известны, станет очевидна примечательная закономерность. “Сразу видно, что во всех регионах роялисты были моложе парламентариев, – заключили Брантон и Пеннингтон в своем классическом исследовании 1954 г. – Медианный возраст двух партий на территории всей страны составил тридцать шесть

<sup>250</sup> Hirst D. *The Failure of Godly Rule in the English Republic // Past and Present* 132 (1991). P. 66.

<sup>251</sup> Russell C. *Parliament and the King's Finances // Russell C. (Ed.). The Origins of the English Civil War*. London, 1973. P. 107.

<sup>252</sup> Из этих шестерых 4-й граф Бедфорд скончался в 1641 г., 3-й граф Эксетер и 2-й лорд Брук (погиб в бою при осаде Личфилда) – в 1643 г., а 3-й граф Эссекс, 1-й граф Болингброк и 1-й граф Малгрейв – в 1646-м.

и сорок семь лет соответственно, а это очень большая разница”<sup>253</sup>. Таким образом – по крайней мере в Палате общин, – противники Карла в основном принадлежали к (относительно пожилому) поколению 1580-х и 1590-х гг. Поддержку королю, напротив, преимущественно обеспечивало поколение, которому еще не исполнилось сорока, то есть люди, воспитанные в годы “Яковинского спокойствия”, когда корона поддерживала мирные, хоть и не дружественные, отношения с Испанией. Разрыв поколений почти в одиннадцать лет – огромная пропасть для общества с относительно низкой ожидаемой продолжительностью жизни – отделил тех, кто выступал против Карла I на войне, от более молодого поколения, которое стремилось защитить роялистские ценности. Медианный возраст двенадцати пэров, которые призывали к созыву Парламента в 1640 г., был и того больше: самым старшим среди них (Ратленду и Малгрейву) было шестьдесят лет и семьдесят четыре года соответственно. Практически идентичное различие в возрастах парламентариев и роялистов обнаруживается и среди всего сословия пэров<sup>254</sup>.

Подобная закономерность наблюдается и при анализе реакции на политику каролинского режима со стороны учащихся университетов 1630-х гг., хотя здесь статистические данные еще более фрагментарны. Что касается предоставляемых университетской статистикой сведений о религиозных предпочтениях людей моложе тридцати лет, то есть не только студентов, но и многих молодых исследователей, общая картина показывает, что учащиеся не просто вынужденно признавали “лодианские нововведения” 1630-х гг., но встречали их с готовностью, а порой и с энтузиазмом, демонстрируя укрепление преданности короне. Оксфордский университет, где Лод с 1630 по 1641 г. занимал должность канцлера, активно принимая участие в делах, к концу десятилетия, как выразился профессор Шарп, стал “оплотом церкви и короны”. Когда в 1642 г. Долгий парламент раскололся на “кавалеров” и “круглоголовых”, “большинство выпускников Оксфорда, которые поступили в университет в бытность Лода канцлером, поддержали монархию”<sup>255</sup>. В Кембридже наблюдалась подобная картина: к началу 1640-х “университет был открыто роялистским”<sup>256</sup>. Судя по всему, лодианские церковные “нововведения” обрели широкую поддержку в этой среде. В 1641 г. комитет Палаты общин, возглавляемый благочестивым сэром Робертом Харли, изучил университетские порядки 1630-х и обнаружил “интерес к католической традиции, очевидно разделяемый многими [в университете]”, причем этот интерес далеко не ограничивался нововведениями в литургии, которых требовал сам Лод<sup>257</sup>. Старомодный кальвинизм в глазах новых лодианцев был не просто ущемленным – он вышел из моды. Как в 1641 г. выразился на заседании Долгого парламента озадаченный сторонник кальвинизма Стивен Маршалл, казалось, “словно мы устали от правды, которую нам вверил Бог”<sup>258</sup>. Пожалуй, большинству студентов 1630-х гг. немногочисленные “пуританские” колледжи – главным образом Эммануэль-колледж и Колледж Сидни Сассекса – казались не столько грозными семинариями крамолы, сколько старомодной глушью, куда консервативные отцы отдавали своих сыновей, чтобы тех учили в богословской традиции, популярной двадцатью годами ранее, во времена их собственной юности. И все же даже студенты Эммануэль-колледжа, как в 1641 г. с удивлением обнаружили исследователи Палаты общин, проникали в часовню ультралодианского Питерхауса, чтобы вкусить запретный плод<sup>259</sup>.

<sup>253</sup> Brunton D., Pennington D. H. *Members of the Long Parliament*. London, 1954. P. 16.

<sup>254</sup> Crummett J. B. *The Lay Peers in Parliament, 1640–1644*. (University of Manchester, Ph.D. dissertation, 1970), appendix.

<sup>255</sup> Sharpe K. *Archbishop Laud and the University of Oxford* // Pearl V., Worden B. and Lloyd-Jones H. (Eds). *History and Imagination: Essays in Honour of H. R. Trevor-Roper*. London, 1981. P. 164.

<sup>256</sup> Twigg J. *A History of Queens' College, Cambridge*. Woodbridge, 1987. P. 48.

<sup>257</sup> BL, Harleian MS 7019, fol. 52–93, ‘Innovations in Religion and Abuses in Government in the University of Cambridge’; Commons Journals, vol. II, p. 126; Hoyle D. *A Commons Investigation of Arminianism and Popery in Cambridge on the Eve of the Civil War* // *Historical Journal* 29 (1986). P. 419–425 (на странице 425).

<sup>258</sup> Stephen Marshall. *A Sermon*. 1641. P. 32; цитируется: Russell C. *Fall of the British Monarchies 1637–1642*. Oxford, 1991. P. 26.

<sup>259</sup> BL, Harleian MS 7019, fol. 82, ‘Some of the scholars [of Emmanuel] have received harm by their frequent going to Peterhouse

К 1639 г. лодианство в Кембридже “заняло главенствующую позицию. Полное доминирование было просто вопросом времени”<sup>260</sup>.

Выводы, сделанные на основании таких неизбежно неполных данных, следует рассматривать с огромной осторожностью<sup>261</sup>. Что касается статистики о возрасте и политических симпатиях в Парламенте, возникают интерпретационные проблемы с использованием информации о симпатиях 1642 г. для анализа отношения к режиму тремя годами ранее, в 1639-м. Не в последнюю очередь это связано с тем, что поддержку короля во время гражданской войны нельзя считать показателем поддержки политики режима в 1630-е<sup>262</sup>. Усреднение возрастов скрывает тот факт, что на парламентской стороне были, конечно же, и более молодые люди – такие, как Брук и Мандевиль, которым в 1640-м еще не исполнилось сорока, – и они могли бы на несколько последующих десятилетий стать бельмом на глазу режима. Подобным образом свидетельства о симпатиях 1640-х гг. в лучшем случае дают лишь грубое представление о политическом климате страны в последние годы единоличного правления. Однако если очевидные различия в отношении к режиму среди разных возрастных групп 500 с лишним членов Палаты общин хотя бы очень грубо описывали тенденции внутри страны, то это имело значительные политические последствия – и такой вывод становится еще более справедливым, если рассмотреть распределение общества по возрастным группам.

Между 1631 и 1641 гг. распределение английского и валлийского населения по возрастным группам оставалось условно неизменным: люди в возрасте моложе тридцати лет составляли почти 60 процентов населения, а около трети населения составляли дети в возрасте до пятнадцати лет<sup>263</sup>. В 1640 г. половина населения (49,7 процента) была рождена после 1616 г., а следовательно, встретила вступление Карла I на престол в 1625 г. в возрасте девяти лет и менее. Или, если перевести это на язык политического опыта, в 1640 г. целая треть населения не знала другого короля, кроме Карла. Этой трети населения даже такие недавние события, как разногласия из-за “петиции о правах” 1628 г., вероятно, казались довольно далеким прошлым, ведь этим людям было от силы четыре года, когда Карл распустил свой последний Парламент в 1629 г. Если бы правление Карла I без Парламента продолжилось хотя бы до конца его жизни – до 1649 г., – Англия стала бы страной, в которой более половины населения не имело бы ни непосредственного опыта, ни воспоминаний о жизни при Парламенте. Это была пропасть не только в политическом отношении, но и в отношении памяти – и вполне вероятно, что она бы оказала колоссальное воздействие на восприятие “нововведений” режима в правительстве и в церкви.

Само собой, передача культурной памяти зависит от гораздо менее очевидных и более многочисленных факторов, чем один только возраст. Традиции кальвинистской духовности и вера в то, что Парламент играет ключевую роль в правильном государственном устройстве, вряд ли канули бы в Лету просто потому что те, кто жил при Елизавете и Якове, перестали бы

---

Chapel...’. Cp.: Hoyle D. *A Commons Investigation of Arminianism and Popery in Cambridge on the Eve of the Civil War* // *Historical Journal* 29 (1986). P. 424.

<sup>260</sup> Twigg J. *The University of Cambridge and the English Revolution, 1625–1688*. Vol. I. (The History of the University of Cambridge: Texts and Studies). Woodbridge, 1990. P. 41.

<sup>261</sup> Подробнее о значении находок Брантона и Пеннингтона рассказывается в работе: Aylmer G. E. *Rebellion or Revolution? England, 1640–1660*. Oxford, 1986. P. 42. (Я благодарен профессору Томасу Когсвеллу за обсуждение этого вопроса.)

<sup>262</sup> Виконт Фолкленд и сэр Эдвард Хайд, к примеру, оставались роялистами до 1642 г., однако они не одобряли многие аспекты политики, которую правительство проводило в 1630-х гг. Во многом успех Карла при создании роялистской партии в 1642 г. объяснялся его удачным преобразованием в первые два года работы Долгого парламента, когда он представил себя защитником известных законов и действующей церкви, в то время как Парламент изобразил в качестве института, угрожающего “нововведениям” в церкви и государстве. См., в частности, блестящую дискуссию на эту тему: Russell C. *Fall of the British Monarchies 1637–1642*. Oxford, 1991. Pp. 230, 413, 420.

<sup>263</sup> Наиболее достоверные оценки для Англии и Уэльса таковы: Частное сообщение от профессора Тони Райли. Я очень обязан профессору Райли за предоставление этих подробных выдержек из статистики, собранной для его масштабного исследования, проведенного в сотрудничестве с Р. С. Скофилдом, *The Population History of England 1541–1871*. Cambridge, 1981.

составлять большую часть населения. Даже когда Парламент не собирался, циркулировали памфлеты и трактаты (часто в списках), описывающие его историю, обычаи и полномочия, и нет причин предполагать, что это прекратилось бы даже при условии победы Карла в 1639 г.<sup>264</sup> И все же нельзя списывать со счетов влияние возраста и поколений на политические воззрения. По крайней мере отчасти широкая поддержка Парламента в 1642 г. объяснялась его эмоциональным призывом к тем, кто помнил притеснения “свобод подданных” в яковинских и ранних каролинских Парламентах – в частности, ожесточенные сессии 1626 и 1628–1629 гг. В 1639-м эта группа уже была меньшинством, однако все еще довольно многочисленным (около 40 процентов населения). Если бы призыв защитить Парламент раздался пятьдесят лет спустя, ответ на него мог бы оказаться далеко не таким воодушевленным. Для таких, как Пим и Сент-Джон, Бедфорд и Сэй, 1639–1640 гг. были истинным “кризисом Парламента”: действовать надо было сейчас или никогда.

### Перестройка английской судебной системы

Таким образом, если отталкиваться от гипотетической победы короля 1639 г., шансы на то, чтобы в стране вспыхнуло восстание, которое бы ограничило полномочия Карла I или вынудило его против воли созвать Парламент, были невелики – и, возможно, таяли с каждым годом. Тем не менее остается одна сфера, в которой королю, вероятно, пришлось бы изменить свою политику, поскольку законность его действий могла подвергнуться критике со стороны общества. Этой сферой была судебная система. Суды по-прежнему имели власть наносить серьезные удары по фискальной политике (и престижу) короны, что продемонстрировало громкое прецедентное дело 1637–1638 гг. о законности корабельных денег, возбужденное против Джона Гемпдена. Рассматривавшееся перед всей коллегией судей дело было решено в пользу короля и подтвердило законность налога, несмотря на то что он был введен без одобрения Парламента. Однако это решение вызвало такую полемику, что победа короны оказалась пирровой. Широко стали известны вердикты сэра Ричарда Хаттона и сэра Джорджа Крока, которые открыто заявили, что закон не допускает взимания корабельных денег, в результате чего вера в легитимность налога оказалась окончательно подорванной<sup>265</sup>.

Тем не менее дело Гемпдена дает ряд указаний на то, как мог бы измениться закон и роль судей в качестве его толкователей, если бы единоличное правление продолжилось и в 1640-х гг. На кону стоял вопрос, который в разных формах задавался в начале семнадцатого века: гарантировало ли общее право неприкосновенность частной собственности, запрещая введение налогов без согласия Парламента?<sup>266</sup> По мнению барристера Гемпдена, а также боль-

<sup>264</sup> Cope E. *Public Images of Parliament during its Absence* // *Legislative Studies Quarterly* 7 (1982). P. 221–234. Средневековое сочинение *Modus Tenendi Parliamentum* было, пожалуй, наиболее широко распространенным политическим текстом в Англии на раннем этапе правления Стюартов, см.: Pronay N., Taylor J. (Eds.). *Parliamentary Texts of the Later Middle Ages*. Oxford, 1980. Appendix I. Копия *Modus* оказалась первой в списке вещей, обнаруженных в кабинете виконта Сэя при обыске, устроенном по инициативе Короткого парламента с целью проверить, нет ли у виконта крамольных бумаг: *Bodl. Lib.*, MS Tanner 88\*, fol. 115.

<sup>265</sup> Как установил доктор Джилл, дело Гемпдена определило, что взимание корабельных денег законно, однако шерифы не имеют права описывать имущество неплательщиков (то есть в случае неуплаты конфисковать имущество на сумму, равную сумме долга), имея только предписание казны. Само собой, этот вердикт по-прежнему оставил короне альтернативную возможность сажать в тюрьму всех тех, кто отказывался платить, и корона уже продемонстрировала свою готовность пользоваться этим правом. См.: Gill A. A. M. *Ship Money during the Personal Rule of Charles I: Politics, Ideology, and the Law, 1634–1640*. (University of Sheffield, Ph.D. dissertation, 1990). Если бы в 1640-х гг. Парламент так и не был созван, а корабельные деньги стали бы ежегодным налогом, остается открытым вопрос, пришлось бы короне отправлять в тюрьму такое же количество людей, как и в 1630-х гг., или же противодействие корабельным деньгам постепенно сошло бы на нет. (Я благодарен доктору Джону Моррилла за обсуждение этого вопроса.)

<sup>266</sup> Доходчивое описание аргументов, приводимых в этих дебатах, дается в работе: Sommerville J. P. *Politics and Ideology in England, 1603–1640*. London, 1986. В особенности pp. 160–162.

шинства юристов страны, это было так. Частная собственность не подлежала отчуждению без команды Парламента, введение корабельных денег не было одобрено Парламентом, а следовательно, налог был незаконен<sup>267</sup>.

И все же в представлении Карла (как и его отца) закон имел инструментальную функцию: он был орудием “хорошего правительства” для достижения целей и трактовался короной, а не сторонним источником мудрости (вроде сэра Эдварда Кока), который трактовал закон в соответствии с абстрактными концепциями, существующими с незапамятных времен. Специалисты по общему праву тоже спорили, какая из этих трактовок должна иметь приоритет. Здесь спор шел не столько между “общим правом” (как фиксированным набором конституционных принципов) и королевским “абсолютизмом”, сколько между двумя конкурирующими представлениями о том, каким должно быть общее право. Еще при Якове идея о том, что общее право фактически представляет собой инструмент королевского правительства, активно пропагандировалась заклятым врагом Кока лордом-канцлером Элсмиром (ум. 1617) и Фрэнсисом Бэконом (позже виконт Сент-Олбанский, ум. 1626), весьма искусными в общем праве. С их точки зрения, убежденность Кока в верховенстве личных прав была неуместна<sup>268</sup>. У короны были основания утверждать, что когда возникла необходимость оплатить защиту королевства в 1620-х, собранные благодаря парламентским налогам суммы оказались ничтожно малы<sup>269</sup>. Основная форма налогообложения, субсидия, стала жертвой организованного мошенничества, когда джентри указывали в качестве налоговой базы лишь часть их реального состояния<sup>270</sup>. К 1620-м размер субсидии снизился настолько, что королю (как однажды саркастично заметил Лод) уже не было смысла торговаться о ней с Парламентом. Корабельные деньги, напротив, хотя бы взимались по справедливости, поскольку размер налога зависел от платежеспособности индивида, и покрывали действительные расходы на содержание флота для защиты королевства – то есть исполнения главной обязанности правительства<sup>271</sup>. Так как завоевание отменяло все законы завоеванных (как признавалось почти повсеместно), подразумевалось, что без защиты королевства свобод не будет вообще, не говоря уже о личных свободах и праве собственности<sup>272</sup>. Гоббс, которому позиция Кока претит не меньше, чем самому Карлу, изящно описал направление развития этой мысли: в определенных обстоятельствах, заявил он, король получал моральное право не исполнять обещание не облагать подданных налогом без их согласия. “Если король решит, что исполнение этой гарантии не позволит ему защитить своих подданных, он возьмет на себя грех, а следовательно, он может и должен не принимать эту гарантию во внимание”<sup>273</sup>.

<sup>267</sup> Некоторые предположения о влиянии идей Кока на поколение, которое входило в судебные инны в 1630-х гг., см. в работе: Cromartie A., Hale M. 1609–1676: *Law, Religion, and Natural Philosophy*. Cambridge, 1995. Pp. 11–29.

<sup>268</sup> См. ‘The Lord Chancellor Egertons observacons upon ye Lord Cookes reportes’ (1615), опубликованные в: Knafla L. A. *Law and Politics in Jacobean England: The Tracts of Lord Chancellor Ellesmere*. Cambridge, 1977. Pp. 297–318. Различные взгляды на статус и назначение общего права описаны в работе: Holmes C. *Parliament, Liberty, Taxation, and Property* // Hexter J. H. (Ed.). *Parliament and Liberty from the reign of Elizabeth to the English Civil War*. Stanford, 1992. P. 122–154.

<sup>269</sup> Вопреки этому утверждению можно сказать, что в 1620-е гг. корона никогда не давала Парламенту возможности в полной мере обеспечить защиту королевства, см.: Cust R. *The Forced Loan and English Politics 1626–1628*. Oxford, 1987. Pp. 150–85. Однако остается под вопросом, сумел ли бы любой из каролинских парламентов предоставить субсидии, равные тем суммам, которые в 1630-х гг. удалось собрать благодаря корабельным деньгам и потратить исключительно на содержание королевского флота.

<sup>270</sup> Масштабы недооценки см. в работах: Heal F., Holmes C. *The Gentry in England and Wales, 1500–1700*. London, 1994. P. 185–186; Russell C. *Parliaments and English Politics, 1621–1629*. Oxford, 1979. Pp. 49–51.

<sup>271</sup> Andrews K. R. *Ships, Money, and Politics: Seafaring and Naval Enterprise in the Reign of Charles I*. Cambridge, 1991. Pp. 128–139.

<sup>272</sup> Происхождение этой аргументации см. в: *The King’s Prerogative in Saltpetre* (1607) в *English Reports* (Vol. LXXVII, pp. 1294–1297, цитируется в: Holmes C. *Parliament, Liberty, Taxation, and Property* // Hexter J. H. (Ed.). *Parliament and Liberty from the reign of Elizabeth to the English Civil War*. Stanford, 1992. P. 136.

<sup>273</sup> Hobbes Th. *A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England*, ed. Joseph Cropsey. Chicago, 1971. P. 63. См. также следующий раздел: “Также король (что признается единогласно) обязан защищать свой народ от ино-

На протяжении 1630-х гг. упорное нежелание судей единодушно одобрить такую “инструментальную” трактовку общего права представляло собой одно из главных препятствий на пути создания надежных непарламентских источников дохода для короны. При этом изменить состав судейской коллегии было проблематично. Должность судьи являлась пожизненной; хотя в исключительных обстоятельствах судью и можно было снять с должности, отставка судьи – в чем Карл успел убедиться на собственном опыте – с большой вероятностью не принесла бы пользы, обострила бы отношения внутри адвокатской палаты и подорвала бы авторитет судов. Чтобы суды справлялись с ролью опоры королевского единоличного правления, приговоры должны были выноситься свободно, а не под давлением Уайтхолла – в крайнем случае, так должно было хотя бы казаться со стороны.

И все же в том, что касается этих несговорчивых судей, время снова играло на руку Карлу. К концу 1630-х гг. он был близок к достижению своей цели – формированию судейской коллегии из судей, которые пользовались уважением коллег, но в то же время были благосклонно настроены к “максималистской” интерпретации прерогатив короны в отношении общего права. Из пяти судей, которые выступили против короны в деле о корабельных деньгах 1637–1638 гг., четверем было за семьдесят – это были люди Елизаветинской эпохи, интеллектуальное становление которых пришлось на 1580-е и 1590-е гг. Их карьера также клонилась к закату. Сэр Джон Денэм (1559 г. р.), которому было глубоко за семьдесят и который встал на сторону Гемпдена, скончался через год после вынесения решения не в пользу короны. Сэр Ричард Хаттон (ок. 1561 г. р.) умер через месяц после Денэма (26 февраля 1639 г.)<sup>274</sup>. Сэр Джордж Крок из Суда общих тяжб (1560 г. р.) из-за ухудшения здоровья в 1641 г. подал прошение об отставке и скончался 16 февраля 1642 г. Четвертый старейший член коллегии, сэр Хамфри Давенпорт (1566 г. р.), который встал на сторону Гемпдена из-за несоблюдения формальностей, дожил до 1645 г., однако, как гласил его вердикт, он готов был подтвердить легальность этого непарламентского налога<sup>275</sup>. Хаттон, Крок и, возможно, Денэм были самыми категоричными противниками режима в коллегии. К 1641 г. Карл был избавлен от всех троих<sup>276</sup>. Для критиков корабельных денег, как и для противников других аспектов каролинского режима, конец 1630-х гг. был, пожалуй, последним моментом, когда оставалась возможность бросить серьезный юридический вызов режиму.

К началу 1640-х в отсутствие парламентской критики Карл смог бы преобразовать состав коллегии, не прибегая к яростным чисткам и отставкам, чтобы “королевские львы” одобрительно мурлыкали всякий раз, когда необходимо будет утвердить новые фискальные выплаты. Такое раболепие подорвало бы престиж судебной коллегии<sup>277</sup>. И все же еще через несколько лет дело Гемпдена (если бы оно вообще дошло до суда), скорее всего, завершилось бы не вынуж-

---

земных врагов и поддерживать мир в своем королевстве; если он не приложит всяческих усилий, чтобы исполнить эту обязанность, он возьмет на себя грех...” (*ibid.*).

<sup>274</sup> Взгляды Хаттона изложены в: Prest W. R. (Ed.). *The Diary of Sir Richard Hutton*, 1614–1639. (Selden Soc. supplementary series, IX). 1991. Pp. xxvi – xxxv; *Dictionary of National Biography*, s.v. Sir Richard Hutton.

<sup>275</sup> Russell C. *The Ship Money Judgements of Bramston and Davenport // Russell C. Unrevolutionary England*. London, 1990. P. 137–144.

<sup>276</sup> Сэр Джон Брэмстон (1577–1654), который выступил против короны из-за несоблюдения формальностей (поскольку из описания не было понятно, кому причитаются взимаемые деньги), тем не менее согласился с большинством, что налог адресуется королю. Брэмстон защищал сэра Джона Элиота в 1629 г., и есть вероятность, что в 1640-х он остался бы в судейской коллегии на правах противника режима, однако оказался бы в меньшинстве и, возможно, был бы лишен влияния. См.: Russell C. *The Ship Money Judgements of Bramston and Davenport // Russell C. Unrevolutionary England*. London, 1990. P. 143. Само собой, возраст был не единственным фактором, влияющим на взгляды юристов: молодой Мэттью Хэйл, который стал одним из самых влиятельных членов судейской коллегии после Реставрации, был пропитан идеями сэра Эдварда Кока и Джона Селдена, см.: Cromartie A., Hale M. 1609–1676: *Law, Religion, and Natural Philosophy*. Cambridge, 1995. Chs. 1–2.

<sup>277</sup> Cockburn J. S. *A History of English Assizes*, 1558–1714. Cambridge, 1972. Pp. 231–237. Профессор Кокберн обсуждает ослабление “общественной уверенности в беспристрастности [судебных] разбирательств” (р. 231) во время правления Карла. Открытым остается вопрос о том, могло ли это спровоцировать непреодолимый кризис английской правовой системы в отсутствие Парламента.

денным одобрением корабельных денег, которое коллегия предоставила в 1638 г., а горячей поддержкой фискальной политики короны<sup>278</sup>.

Следствия королевской победы 1639 г. для развития правовой системы кажутся очевидными. При каролинском правительстве в 1640-х гг. в Англии по-прежнему действовало бы общее право, однако эта правовая система развивалась бы в направлении, обозначенном Бэконом и Элсмиром, в сторону усиления концентрации политической власти в руках короля, а не шла бы по намеченному Коком пути. Вектор развития уже был озвучен сэром Робертом Беркли в его вердикте о корабельных деньгах от 1638 г. Отвергая довод барристера Гемптона о том, что король не имеет права “взыскивать деньги с подданных” без “общего согласия Парламента”, Беркли не высказал никаких сомнений. “Закон не знает политики подавления короля. Закон как таковой есть старый и верный слуга короля, это тот инструмент, то орудие, которое он использует, чтобы править своим народом”<sup>279</sup>. Должно быть, от этой искренности холодок пробежал по спине у всех тех, кто почитал алтарь сэра Эдварда Кока.

### **Британия Стюартов: преобразование государства**

Как бы выглядели три королевства Стюартов, если бы восстание ковенантеров было подавлено, судейская коллегия стала бы еще сговорчивее, а заморская “католическая угроза” изжила себя? Многое зависело от того, как победа 1639 г. повлияла бы на баланс сил и влияния при дворе. Без сомнения, сильнее всего поднялся бы личный авторитет самого короля. Победоносные короли, как правило, получали восторги подданных, поэтому победа над ковенантерами практически наверняка принесла бы короне огромную популярность и значительно поспособствовала усмирению внутренней оппозиции режиму, даже несмотря на эффективную шотландскую пропагандистскую кампанию, направленную на завоевание английских умов и сердец. Военные успехи дали бы Карлу I возможность реализовать свое стремление создать “имперский” союз трех королевств и фактически еще сильнее подчинить Шотландию и Ирландию английскому правлению. Англия стала бы моделью “порядка и благопристойности” в правительственной и правовой системе (как уже случилось в сфере религии), и кельтские королевства были бы вынуждены следовать ее образцу. Победа дала бы королю возможность продолжить установление единоличного правления, в котором он видел залог благополучия своих подданных. Несколькими годами ранее король даже произнес немного зловещую фразу: “Если кто-то безрассудно пойдет против природы и решит выступить против короля, своей страны и собственного блага, с Божьей помощью мы сделаем его счастливым – даже против его воли”<sup>280</sup>.

Архиепископ Лод, который был одним из главных в Совете сторонников решения внедрить английскую литургию в Шотландии в 1637 г., счел бы королевскую победу 1639 г. не только личным триумфом, но и ниспосланным свыше доказательством своей правоты. Его влияние на английскую церковь оказалось бы в значительной степени консолидированным, а потому, скорее всего, с новой силой возобновилось бы прерванное войной внедрение церковных регламентов 1630-х гг.: размещение престола в восточной части приходских церквей с ориентацией на восток “на манер алтаря”, акцент на катехизисе вместо проповедей, упор на доктринальное и церемониальное единство и повышение благосостояния и общественного положения духовенства. Если бы модифицированный вариант английской литургии

---

<sup>278</sup> Судьи, вставшие на сторону короны в деле Гемпдена, не решились на подобную поддержку, поскольку вопрос о правомерности королевской фискальной политики не стоял на повестке дня. Финч и его коллеги определили, что король был обязан защищать свое королевство и принимать для этого все необходимые меры. (Я благодарен профессору Расселлу за совет по этому вопросу.)

<sup>279</sup> Hargrave Fr. *A Complete Collection of State-Trials*. 11 vols. 1776–1781. Vol. I. Col. 625.

<sup>280</sup> *BL*, Add. MS 27402 (Misc. historical papers), fol. 79, Charles I to the Earl of Essex, 6 August 1644.

был успешно экспортирован в Шотландию в конце 1630-х гг., за ним, вероятно, последовали бы и другие элементы лодианской программы. В Ирландии Страффорд и епископ Дерри Джон Брамхолл уже продвинулись на пути к достижению литургического единства с Англией. Во всех трех королевствах тенденция к клерикализации правительства, типичным проявлением которой стало (устроенное Лодом) назначение епископа Лондона лордом-казначеем в 1636 г., скорее всего укрепилась бы. Пока пуританские знаменитости вроде Бертона, Бэствика и Принна томились бы в своих далеких и холодных подземельях, нонконформисты продолжили бы страдать под властью бдительного (и порой злопамятного) архиепископа. Работа Иниго Джонса над планом расширения собора Святого Павла, предполагавшим провозглашение Карла “новым строителем” церкви на антаблементе шестидесятифутовой коринфской колоннады, продолжилась бы и в 1640-х: этот храм стал бы визуальным памятником триумфу лодианской церкви<sup>281</sup>.

Католики тоже остались бы в выигрыше. Их своевременное присоединение к обеспечению военных расходов 1639 г. (благодаря чему было собрано около 10 000 фунтов стерлингов) обещало им прекрасные дивиденды в случае победы. Семнадцатого апреля 1639 г. королева Генриетта Мария в послании своему старшему секретарю, католику сэру Джону Винтуру, обязалась защитить католиков, оказавших финансовую поддержку королю, “от всех... оказываемых неудобств”, что подразумевало гарантию ограниченной толерантности<sup>282</sup>. Католики добились бы дальнейшего послабления законов о нонконформизме (к огромному неудовольствию Лода, который, несмотря на свою репутацию, оставался яростным противником католичества) и расширения возможностей для занятия придворных должностей. Католик граф Найсдейл, входивший во внутренний круг советников, с которыми Карл принял решение пойти на войну в 1639 г., получил бы огромное влияние в Шотландии,<sup>283</sup> а симпатизирующий католикам государственный секретарь и член Королевского военного совета сэр Фрэнсис Уиндебанк – в Уайтхолле. Сложно сказать, привели бы эти преобразования к обострению неприязни к римским католикам или же со временем позволили бы возникновение фактической толерантности (того сорта, который в то время устанавливался в Республике Соединенных провинций)<sup>284</sup>. Однако совершенно точно не последовало бы жестоких процессов против католиков, которые состоялись при Долгом парламенте в 1640-е гг., когда более двадцати католических священников встретили жуткую смерть через повешение, утопление и четвертование. В сравнении с ужасной карой, которой Парламент подвергал религиозных диссидентов в 1640-е гг., самые суровые наказания периода единоличного правления (даже наказания Бертона, Бэствика и Принна) кажутся относительно милосердными<sup>285</sup>.

Советники Карла ощутили бы огромную отдачу от королевской победы 1639 г. Наибольшую выгоду она принесла бы своим архитекторам: кругу членов Тайного совета, поддержавших решение короля вступить в войну и глубоко вовлеченных в планирование и проведение кампании против шотландцев, в первую очередь маркизу Гамильтону, графу Арунделу и сэру

<sup>281</sup> Harris J., Higgott G., Jones I. *Complete Architectural Drawings*. New York, 1989. Pp. 238–240. Надпись на антаблементе гласила: “CAROLUS... TEMPLUM SANCTI PAULI VETUSTATE CONSUMPTUM RESTITUIT ET PORTICUM FECIT” (“Карл... восстановил собор Святого Павла, разрушенный временем, и построил портик”).

<sup>282</sup> *John Rylands Library*, University of Manchester, Eng. MS 737, fol. 3a, the Queen to Sir John Wintour, 17 April 1639. См. также циркулярное письмо декана Английского католического секулярного духовенства преподобного Энтони Чампи от 30 ноября 1638 г., в котором он призывает католиков особенно серьезно отнестись к демонстрации своей верности королю в период Шотландского кризиса (*Eng. MS 737*, no. 32).

<sup>283</sup> Donald P. *An Uncounselled King: Charles I and the Scottish Troubles*. Cambridge, 1990. Pp. 320–327; Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 4.

<sup>284</sup> Israel J. *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806*. Oxford, 1995. Pp. 637–645.

<sup>285</sup> *House of Lords Record Office*, Main Papers 29/7/1648, fol. 59–60, lists of priests imprisoned or executed, 1643–1647. Для сравнения: за пятнадцать лет правления Карла с момента его коронации до 1640 г. были казнены всего три священника. См.: Clifton R. *Fear of Popery // Russell C. (Ed.). The Origins of the English Civil War*. London, 1973. P. 164.

Генри Вэйну, то есть тем людям, которых король в апреле 1639 г. назвал единственными советниками, пользующимися его полным доверием<sup>286</sup>. Больше всех получил бы Гамильтон – самый верный лейтенант Карла в Шотландии с появления первых признаков “восстания” в Эдинбурге в 1637 г. Имея высокое положение, просторные шотландские владения и изысканные английские манеры, Гамильтон был очень близок к королю и должен был занять высочайшую должность при дворе в Уайтхолле. Пожалуй, Гамильтон ближе всех подошел к тому, чтобы заметить Карлу убитого герцога Бекингема (чья должность лорда-констебля перешла к Гамильтону после гибели герцога в 1628 г.). Отмечается, что его “авторитет и влияние на короля” заметно возросли в январе 1639 г., “после его недавнего назначения в Шотландию”, а к декабрю 1640 г. уже сообщалось, что он имел “исключительное влияние на короля”<sup>287</sup>. В случае поражения ковенантеров в 1639 г. позиция Гамильтона при дворе (и в сердце короля) стала бы незыблемой.

Из институтов – если не считать сам Парламент – негативнее всего победа сказала бы на английском Тайном совете. Он и так был выведен из игры при планировании королевского ответа на шотландский кризис на том основании, что его полномочия не распространялись на земли к северу от реки Твид. Его совещательная функция органа, который дает советы королю, скорее всего, ослабевала бы и дальше. Ответственность за “имперские” аспекты правительства – вопросы, касавшиеся всех трех королевств, – вероятно, консолидировалась бы в руках небольшой группы избранных королем доверенных лиц, включая Лоуда, Арундела, Гамильтона, сэра Генри Вэйна-старшего и, возможно, камергеров Патрика Мола, Джорджа Кирка и Уилла Моррэя. Этот процесс начался еще во время кризиса 1637–1639 гг.<sup>288</sup>

И все же есть серьезные основания полагать, что эта тенденция к усилению авторитаризма королевского правительства в случае победы 1639 г. сдерживалась бы противодействующими придворными течениями, которые сами стали бы следствием победы над шотландцами<sup>289</sup>. Многие из придворных, чей статус поднялся бы благодаря победе 1639 г., были на короткой ноге с “впавшими в немилость” аристократами, определявшими “общественное” мнение 1630-х гг. В круг Гамильтона входил виконт Сэй и Сил (инициатор судебной тяжбы о корабельных деньгах, главным фигурантом которой вскоре стал Гемпден), а также вскоре туда вошли виконт Мандевилль (впоследствии командующий войсками Восточной ассоциации в армии Кромвеля), сэр Джон Дэнверс (будущий цареубийца) и члены верхушки ковенантеров из Шотландии<sup>290</sup>. Готовность Гамильтона вести диалог с противниками режима в 1639 г.

<sup>286</sup> *Scottish Record Office*, GD 406/1/10543, Charles I to Hamilton, 18 April 1639. Опубликовано: Burnet G. *The Memoires of the Lives and Actions of James and William, Dukes of Hamilton*. 1677. P. 155.

<sup>287</sup> Northumberland to Strafford, 29 January 1639 (опубликовано: Knowler W. (Ed.). *The Earl of Strafforde's Letters and Dispatches*. 2 vols. 1739. Vol. II. P. 276; Northumberland to Leicester, 31 December 1640 (опубликовано: Collins A. (Ed.). *Letters and Memorials of State... from the Originals in Penshurst Place*. 2 Vols. 1746. Vol. II. P. 666). Нортумберленд, который недолго любил Гамильтона, преувеличивает. Однако если Гамильтон и не обладал “исключительным влиянием” на короля, в 1639–1641 гг. он точно был одной из самых влиятельных фигур при дворе.

<sup>288</sup> Летом 1638 г., к примеру, лорд Ньюбург (канцлер герцогства Ланкастерского) пожаловался государственному секретарю Коку, что главными доверенными лицами короля по вопросам Шотландского кризиса были один из камергеров-шотландцев Патрик Мол и маркиз Гамильтон. См.: Sharpe K. *The Image of Virtue: The Court and Household of Charles I, 1625–1642* // Starkey D. (Ed.). *The English Court: From the Wars of the Roses to the Civil War*. London, 1987. P. 251.

<sup>289</sup> Словно намекая на то, что будет дальше, Военный совет (комитет Тайного совета, возглавляемый Арунделом и ответственный за планирование кампании 1639 г.) зимой 1638–1639 гг. сумел убедить короля возродить ряд непопулярных патентов и монополий. *Bodl. Lib.*, MS Clarendon 15, fol. 36, Sir Francis Windebanke's and Lord Cottington's notes, 11 Nov. 1638; см. также обсуждение в работе: Fissel M. Ch. *The Bishops' Wars: Charles I's Campaigns against Scotland, 1638–1640*. Cambridge, 1994. P. 69 n.

<sup>290</sup> *Scottish Record Office*, Hamilton MSS GD 406/1/1505, 1506, 1509, 1510 (Сэю); GD 406/1/1427 (Мандевиллю); GD 406/1/1316, 1319 (Дэнверсу). Считалось, что Гамильтон открыт для идей о реформе правительства, а потому в 1642 г. Дэнверс отправил ему экземпляр трактата о реформации двух королевств, написанного по его заказу Генри Паркером, племянником виконта Сэя и Сила. *Scottish Record Office*, Hamilton MS GD 406/1/1700, Danvers to Hamilton, 1 July 1642; H[enry] P[arker], *The Generall Junto, or the Councell of Union (1642)*, *BL*, 669, fol. 18/1, см.: Mendle M. *Henry Parker and the English Civil War: The Political Thought of the Public's 'Privado'*. Cambridge, 1985. Pp. 18–19, 54–55, 97. Я благодарен доктору Джону Скалли за обсуж-

возбудила подозрения в его верности в ультрароялистских кругах именно “из-за частной переписки, которую его светлость вел с главарями фракции ковенантеров”<sup>291</sup>.

Такие же сомнения возникали и в отношении других действующих лиц 1639 г. Граф Арундел, главнокомандующий кампанией 1639 г., уступал лишь Гамильтону в том трио советников, которых Карл назвал достойными своего безграничного доверия. И все же в 1620-х Арундел был заклятым врагом Бекингема и считался поборником привилегий “старого дворянства” – пэров достюартовских времен, из числа которых в основном и состояла дворянская оппозиция Карлу<sup>292</sup>. Еще больше походили на противников режима два полевых командира Арундела, граф Холланд (командующий кавалерией) и граф Эссекс (генерал-лейтенант под командованием Арундела), которых часто называли “благочестивыми”<sup>293</sup>. Холланд был младшим братом “пуританского” 2-го графа Уорика и навлек на себя гнев Лода, вступившись за нонконформистских священников, которым угрожали церковные власти, а его брат Уорик входил в круг, где состояли такие противники режима, как граф Бедфорд, Виконт Сэй, лорд Брук, Джон Пим и Оливер Сент-Джон. Военная победа 1639 г. также укрепила бы положение графа Эссекса, которому Холланд (приходившийся ему двоюродным братом) всячески пытался вернуть расположение короля<sup>294</sup>. Сын любимого народом елизаветинского героя, казненного за попытку государственного переворота в 1601 г., Эссекс был фактически живым протестантским героем Англии.

Подобно тому как поражение заставило короля в 1640 г. внедрить ряд мер и сделать ряд кадровых перестановок, которые дали основания для появления дискредитирующих слухов о наличии “папистского заговора” при дворе (Арундел, Эссекс и Холланд были отправлены в отставку и начались переговоры с папством о предоставлении ссуд), победа устранила бы многие факторы, способствовавшие укоренению этих слухов. Холланд, Эссекс и Гамильтон (этот “ярый противник папства”)<sup>295</sup> были протестантами без страха и упрека. Холланд и Эссекс сражались на стороне протестантов в Европе при столкновениях с Габсбургами, а Гамильтон в 1631 г. участвовал в походе с прославленным героем Тридцатилетней войны, шведским королем Густавом Адольфом, в то время как его ближайшим союзником при дворе был главный инспектор королевского двора сэр Генри Вэйн, третий советник из тех, кого Карл в 1639 г. назвал заслуживающими своего “безграничного доверия”<sup>296</sup>. После победы 1639 г. укрепление их положения, вероятно, уравнесило бы растущее влияние католиков при дворе и снизило достоверность слухов о том, что двор охвачен папистским заговором. Карл мог бы и дальше вежливо обходиться с папскими посланниками,<sup>297</sup> однако унижительная необходимость вести переговоры с ними в надежде на финансовые субсидии из Рима пропала бы – а вместе с ней пропала бы и угроза общественному имиджу монархии, которую явным образом несли подобные переговоры.

дение этого вопроса.

<sup>291</sup> *Clark Memorial Library*, Los Angeles, MS O14M3/c. 1640/ Bound ([Bishop Guthrie], ‘Observations upon the arise and progresse of the late Rebellion’), p. 82. Гамильтон был явно не в фаворе у королевы, камергер которой обвинил его в предательском слове с шотландцами, см. также: Donagan B. *A Courtier’s Progress: Greed and Consistency in the Life of the Earl of Holland* // *Historical Journal* 19 (1976). P. 344.

<sup>292</sup> Об Арунделе и “старом дворянстве” можно прочитать в работах: Sharpe K. *Sir Robert Cotton, 1586–1631*. Oxford, 1979. Pp. 140, 213–214; Sharpe K. *The Earl of Arundel, his Circle and the Opposition to the Duke of Buckingham, 1618–1622* // Sharpe K. (Ed.). *Faction and Parliament: Essays on Early Stuart History*. Oxford, 1978. P. 209–244.

<sup>293</sup> Изначально Арундел хотел назначить командующим кавалерией Эссекса, см.: Northumberland to Strafford, 29 January 1639 (опубликовано: Knowler W. (Ed.). *The Earl of Strafforde’s Letters and Dispatches*. 2 Vols. 1739. Vol. II. P. 276).

<sup>294</sup> BL, Loan MS 23/1 (Hulton of Hulton corr.), fol. 170–84, 190, letters from the Earl of Holland to Essex [недатированные].

<sup>295</sup> Фраза из книги: Burnet G. *The Memoires of the Lives and Actions of James and William, Dukes of Hamilton*. 1677. P. 518.

<sup>296</sup> О службе Гамильтона и Вэйна Густаву см.: Scally J. J. *The Political Career of James, 3rd Marquis and 1st Duke of Hamilton (1606–1649) to 1643*. (University of Cambridge, Ph.D. dissertation, 1993). P. 50–67.

<sup>297</sup> Hibbard C. *Charles I and the Popish Plot*. Chapel Hill, 1983. Pp. 168–238; Fletcher A. *The Outbreak of the English Civil War*. London, 1981. Pp. 104–124.

Само собой, было бы наивно полагать, что победа над ковенантерами в 1639 г. навсегда ликвидировала бы оппозицию политике Карла. Какие же ее аспекты все равно вызывали бы напряжение? Даже если бы Шотландский кризис был успешно разрешен, королю практически наверняка пришлось бы столкнуться с борьбой придворных фракций по вопросу о надлежащем масштабе церковной власти в государстве. Епископское влияние при дворе вызвало бы резкую антиклерикальную реакцию Тайного совета (члены которого Пемброк, Нортумберленд и Солсбери презирали архиепископа), а клерикализм, без сомнения, начал бы превращаться в болезненную тему в регионах, где местные сквайры и так были обеспокоены тем фактом, что их пасторы – теперь названные мировыми судьями – в 1630-х гг. заняли их место в суде квартальных сессий. Это провоцировало немало личных распр и бесконечную грызню о старшинстве и сферах влияния. Однако в отсутствие победоносной шотландской армии на территории Англии держать эти трения под контролем не составляло труда. Отношения Лода с другими советниками, конечно же, остались бы сложными, однако победа 1639 г. дала бы архиепископу все основания полагать, что он умрет спокойно, в своей постели в Ламбетском дворце.

С Шотландией было бы больше проблем. Как на собственном опыте убедились предшественники Карла, победить Шотландию было мало – нужно было еще ее удержать. Масштаб и интенсивность бунта ковенантеров подсказывают, что Шотландия продолжила бы создавать проблемы режиму, даже если бы в 1639 г. Карл сумел ее одолеть. Однако пока сохранялся безраздельный контроль каролинского режима над Англией, нет оснований полагать, что оставшиеся очаги сопротивления ковенантеров невозможно было бы погасить – елизаветинскому режиму тоже часто досаждали бунтарские настроения Ирландии шестнадцатого века, но серьезную угрозу они представляли редко. Более того, верхушка ковенантеров тоже была подвержена дроблению на фракции и страдала от личных дрязг<sup>298</sup>. Если бы Карл одержал победу в 1639 г., он бы почти наверняка существенно приблизил раскол между радикалами (такими как граф Аргайл) и более умеренными пэрами (такими как Монтроуз), который в итоге случился летом 1641 г.<sup>299</sup>

В течение примерно десяти лет после 1639 г. неизбежно требовалась бы политическая и фискальная консолидация, которая, в свою очередь, зависела от поддержания дипломатического курса, взятого Карлом в начале 1630-х гг. и направленного на недопущение войны за рубежом. Война с Испанией казалась крайне маловероятной. С 1638 г. Тайный совет все больше склонялся к союзу с Испанией, а к июлю 1639 г. Бельевр, разочарованный этой переменой мнений, сообщил, что большинство советников подкуплено испанцами<sup>300</sup>. К тому же после каталонского восстания 1640 г. Испания до конца десятилетия не представляла особой угрозы. Война с Францией, напротив, была вероятнее. В 1638 г. Карл укрыл у себя непримиримую противницу кардинала Ришелье Марию Медичи, а также целый ряд знатных и капризных диссидентов (включая герцога Вандомского и герцога де Субиза), которых она привезла с собой. И все же Франция активно участвовала в борьбе с Габсбургами и с 1643 г.

<sup>298</sup> *BL*, Add. MS 11045, fol. 27, [Rossingham to Viscount Scudamore], 11 June 1639. Сообщается, что в июне 1639 г. Гамильтон предсказал, что “волнения в Шотландии скоро закончатся, в стане ковенантеров очень много противоречий” (*ibid.*). Это было преувеличением, поскольку Гамильтон недооценил мощную поддержку Аргайла со стороны джентри и бургов, однако раскол в руководстве ковенантеров все же оставался вероятным и стал бы практически неизбежным в свете упреков, которые последовали бы за поражением ковенантеров летом 1639 г. (Я благодарен профессору Аллану Макиннесу за обсуждение этого вопроса.)

<sup>299</sup> Чтобы умирить непокорных шотландцев надолго, король должен был удовлетворить хотя бы часть требований Национального ковенанта, а в Шотландии необходимо было создать пророялистскую партию, чтобы править Шотландией от имени короля. Даже такие многообещающие рекруты нового пророялистского правительства, как граф Монтроз, вряд ли согласились бы полностью отказаться от целей Ковенанта. Само собой, Карл I не отличался особенным великодушием при победах, однако по иронии судьбы военный успех англичан в 1639 г. существенно укрепил бы позиции именно тех английских советников, которые с наибольшей вероятностью высказались бы за мягкое послевоенное урегулирование с лордами-ковенантерами, в частности Холланда (излюбленного “посредника” ковенантеров) и Гамильтона.

<sup>300</sup> *PRO* 31/3/71, fol. 85, 141v. (Я благодарен за ссылку профессору Кевину Шарпу.)

страдала от внутренних проблем из-за малолетства короля, а потому вероятность, что она вступит в войну с Англией на другом фронте, оставалась весьма низкой. Торговое соперничество с голландцами тоже было потенциальным источником конфликта (что впоследствии доказали войны 1650-х и 1660-х гг.). Однако в рассматриваемый период отношения между странами оставались гармоничными (несмотря на вторжение голландского адмирала Тромпа в английские воды в октябре 1639 г. с целью разорить испанский флот) и дополнительно укрепились в 1641 г., когда дочь Карла I Мария была выдана замуж за сына и наследника штатгальтера Нидерландов принца Фредерика Генриха Оранского<sup>301</sup>.

Словом, пока Карл сам не начал бы искать битвы, высока была вероятность, что его правительство смогло бы избежать войны хотя бы до 1650-х. В 1620-х Карл на собственном опыте узнал, какие разорения приносят заграничные войны. Даже если бы он одержал победу в 1639-м, необходимо было бы выплатить все правительственные долги, а восстановление королевской власти в Шотландии потребовало бы значительных ежегодных затрат. Кажется маловероятным, что в таких условиях правительство решилось бы на заграничный военный поход. Как после войны 1639 г. заметил граф Нортумберленд, «мы так сосредоточены на ослаблении Шотландии, что, пока мы не добьемся этого, ни о каких попытках восстановления разоренного европейского наследия не может быть и речи»<sup>302</sup>.

Однако главной сферой неопределенности оставались королевские финансы. Могла ли корона свести концы с концами в отсутствие парламентских субсидий? В мирное время, без сомнения, могла. Карл преуспел в том, что не давалось его отцу: к середине 1630-х гг. он сумел свести баланс. Его главной проблемой была ликвидность и необходимость доступа к кредитам в периоды, когда нагрузка на казну становилась слишком тяжелой. Кампания 1639 г. показала, что он способен – но лишь с натяжкой – обеспечивать расходы, не обращаясь к Парламенту, а финансируя нужды посредством кредитов, предоставляемых аристократами и богатыми городскими торговцами (сообщается, что 100 000 фунтов стерлингов предоставил один только сборщик урожая сэра Пол Пиндар)<sup>303</sup>. Насчет Лондона сомневаться не приходилось. Победа 1639 г. почти наверняка предотвратила бы произошедший в лондонском правительстве переворот, который в 1640–1641 гг. ликвидировал господство старой олдерменской элиты и фактически перекрыл короне доступ к городским кредитам. Победа над ковенантерами позволила бы в целом гармоничным отношениям короны с олдерменским правительством города, которые поддерживались до июня 1639 г., сохраниться на неопределенный срок, что пошло бы на пользу обеим сторонам<sup>304</sup>.

Любопытнее вопрос о доходах короны<sup>305</sup>. Могла ли корона увеличить характерный для середины 1630-х уровень доходов и таким образом укрепить свое финансовое положение, чтобы обходиться без Парламента – даже если бы в долгосрочной перспективе ей пришлось самостоятельно финансировать войну? Здесь необходимо ответить на два вопроса. Могла ли общественность выдержать бремя новых непарламентских налогов? А если бы эти налоги

<sup>301</sup> Israel J. *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall, 1477–1806*. Oxford, 1995. Pp. 537–538; прекрасно аргументированный альтернативный взгляд на перспективы Карла см. в работе: Hirst D. *Authority and Conflict: England 1603–1658*. London, 1986. Pp. 174–177.

<sup>302</sup> Collins A. (Ed.). *Letters and Memorials of State... from the Originals in Penshurst Place*. 2 vols. 1746. Vol. II. P. 636: Northumberland to Leicester, 13 February 1640.

<sup>303</sup> Pearl V. *London and the Outbreak of the Puritan Revolution*. Oxford, 1961. P. 96.

<sup>304</sup> Brenner R. *Merchants and Revolution: Commercial Change, Political Conflict, and London's Overseas Traders, 1550–1653*. Cambridge, 1993. Pp. 281–306; более пессимистичный взгляд на отношения короны с Сити изложен в работах: Ashton R. *The Crown and the Money Market, 1603–1640*. Oxford, 1960. Pp. 152–153, 174–184; Ashton R. *The City and the Court, 1603–1643*. Cambridge, 1979. Pp. 202–204.

<sup>305</sup> О снижении королевских доходов с земли в начале семнадцатого века см.: Hoyle R. W. *Introduction: Aspects of the Crown's Estate, c. 1558–1640* // Hoyle R. W. (Ed.). *The Estates of the Crown*. Cambridge, 1994. Доктор Хойл замечает, что около 1600 г. корона получала со своих земельных владений примерно 39 процентов от общего дохода, а к 1641 г. этот показатель снизился до 14 процентов (*ibid.* Pp. 26–28).

действительно ввели, были бы они приемлемы – в политическом и юридическом смысле – для основной массы налогоплательщиков страны? Ответ на первый вопрос довольно очевиден. В целом, Англия оставалась одной из наиболее свободных в налоговом отношении стран Европы, даже если учесть все поборы Карла в 1630-х гг. Как мы увидели, за полвека, прошедшие с 1580 по 1630 гг., английские джентри фактически узаконили систему недооценки собственности в налоговых целях: при сборе субсидий большая часть собственности оценивалась, пожалуй, не более чем в десятую часть своей истинной ценности<sup>306</sup>. Однако система тарификации, которую Карл предложил для сбора корабельных денег, была основана на гораздо более реалистичной оценке истинного состояния индивида (по иронии судьбы в 1643 г. Парламент положил ее в основу своей “еженедельной оценки”). Если бы Карл сумел сделать сбор корабельных денег ежегодным и распространил налог на всю страну, как он практически наверняка и планировал, у него появился бы регулярный и очень прибыльный источник дохода, который, как опасался Кларендон, обеспечил бы “бесконечный приток [средств] по любому случаю”<sup>307</sup>. В 1630-е налоги и так приносили около 218 000 фунтов стерлингов в год, что в денежном выражении было эквивалентно трем парламентским субсидиям ежегодно<sup>308</sup>.

Была также вероятность, что введение налога на продажу (который долгое время рассматривался в качестве одного из возможных вариантов и был впервые введен Долгим парламентом в 1643 г.), скорее всего, тоже обеспечило бы фискальную опору режиму. Перестановки в судейской коллегии вряд ли дают повод усомниться, что король сумел бы получить одобрение судей на дальнейшее расширение финансовой прерогативы. Опыт 1640-х и начала 1650-х гг. показывает, что джентри вполне могли бы потянуть и гораздо более высокие налоги: к 1651 г. налоги в большинстве регионов страны стали в шесть-семь раз выше, чем на пике единоличного правления<sup>309</sup>. Как заметил Джеральд Эйлмер, “пожалуй, поразительнее всего” в новых фискальных сборах 1640-х и 1650-х гг. была “собранная за счет налогообложения сумма и малое противодействие поборам”<sup>310</sup>. Если бы в этот период продолжалось единоличное правление Карла, высока вероятность, что режим значительно увеличил бы свои доходы, не спровоцировав появления большей оппозиции, чем при Кромвеле. Более того, если бы Карл продолжил избегать других крупномасштабных войн, ему не пришлось бы поднимать налогообложение до уровня, установленного в период Английской республики: повышение доходов в два или три раза в сравнении с тем, что он уже получал в форме корабельных денег, сделало бы Карла зажиточным королем.

Само собой, эти меры одобрили бы не все юристы. В частности, общество Линкольнс-Инн, где изобиловали обожатели сэра Эдварда Кока, без сомнения, дало бы арьергардный бой любому судебному постановлению, которое подтвердило бы право короны вводить налоги без одобрения Парламента. Однако если взглянуть на все юридическое сословие, победивший в войне 1639 г. король вряд ли встретил бы серьезное сопротивление коллегии. Юри-

<sup>306</sup> Russell C. *Parliamentary History in Perspective* // History 61 (1976). P. 1–27; Braddick M. *Parliamentary Taxation in Early Seventeenth-Century England*. (Royal Historical Society, Studies in History, 70). London, 1994. Я благодарен доктору Брэдлику за обсуждение этого вопроса.

<sup>307</sup> Hyde E. *Earl of Clarendon, The History of the Rebellion and Civil Wars in England* / Ed. by W. D. Macray. 6 Vols. Oxford, 1888. Vol. I. P. 85. Вероятно, Карл сумел бы свести баланс и без корабельных денег, если бы и дальше избегал вмешательства в заграничные войны (я благодарен за эту подсказку доктору Морриллу).

<sup>308</sup> Russell C. *Parliamentary History in Perspective* // History 61 (1976). P. 9.

<sup>309</sup> О влиянии налогообложения в 1640-х и 1650-х гг. см. в работах: Hughes A. *Politics, Society, and Civil War in Warwickshire, 1620–1660*. Cambridge, 1987. Pp. 262–266, 280–282; Morrill J. *Cheshire, 1630–1660: County Government and Society during the English Revolution*. Oxford, 1974. P. 107.

<sup>310</sup> Aylmer G. E. *Rebellion or Revolution? England, 1640–1660*. Oxford, 1986. P. 172. См. также: Aylmer G. E. *Attempts at Administrative Reform, 1625–1640* // English Historical Review 72 (1957). Pp. 232–233. Само собой, можно возразить, что это происходило после гражданской войны, однако, как подчеркивают последние исследования, эти подати собирали местные сборщики, а не вооруженные солдаты, угрожающие применением грубой силы, см.: Hughes A. *Politics, Society, and Civil War in Warwickshire, 1620–1660*. Cambridge, 1987. Ch. 5.

сты, как и политики, славятся своим подхалимажем власти, поэтому если бы режим Карла сохранился и после 1640 г., не стоит и сомневаться, что достаточное их количество пересмотрело бы свое отношение к новым фискальным сборам, чтобы обеспечить себе успех. Друг Лода Селден, трактат которого “Закрытое море” так полюбился при дворе в 1630-х гг., вероятно, столь же преданно служил бы победоносному каролинскому режиму, как он служил Парламенту в 1640-х<sup>311</sup>. На каждого неуступчивого юриста вроде Оливера Сент-Джона или Уильяма Принна всегда нашелся бы льстивый Булстроуд Уайтлок, готовый выслужиться перед режимом, одержавшим верх.

В период единоличного правления юридическое сословие действительно с характерной гибкостью адаптировалось к правительству без Парламента, прибегая к процедурам (таким как преступный сговор), которые в большинстве случаев позволяли обойти необходимость в законодательной базе. К 1640 г., как заметил профессор Расселл, натурализация иностранцев и изменение границ приходов остались едва ли не единственными задачами, с которыми “юристы не могли справиться без законодательной поддержки”<sup>312</sup>. Сложнее было бы отказаться от функционирования Парламента в качестве “связующего звена” между правительством и подданными. Тем не менее вполне вероятно, что в отсутствие новых парламентов региональные ассизы – регулярные встречи окружных судей с аристократами и джентри каждого графства – стали бы играть гораздо более важную роль в передаче местных жалоб, подобно тому как эту функцию приняли на себя французские парламенты после роспуска Генеральных штатов в 1614 г.<sup>313</sup>

Если бы Карл прожил столько же, сколько и его отец, он умер бы в 1659 г. Многие были под вопросом, однако оставалась хотя бы вероятность, что Карл I оставил бы своему сыну могущественное, обеспеченное, централизованное королевство, где оставшиеся в живых ветераны Палаты общин 1629 г., сидя у камина, рассказывали бы истории о ее беспокойных последних днях, с которых минуло бы целых тридцать лет, и где историки писали бы – с безграничной уверенностью человека, смотрящего в прошлое, – о неизбежности роспуска Парламента. В высшей степени сомнительно, стоит ли называть такое государство “абсолютистским”. На практике власть Карла была бы ограничена – как и власть Людовика XIV во Франции – готовностью местных элит сотрудничать с короной. В Англии, как и во Франции, было не перечислить возможностей для местных обструкций. И все же даже без регулярной армии к концу столетия оставалась вероятность создания английского государства, которое было бы гораздо ближе к Франции Людовика XIV, чем к “смешанной монархии” – где суверенитет делился между королем, Палатой лордов и Палатой общин, – унаследованной Карлом от отца в 1625 г.<sup>314</sup> (Даже в худшем случае перспективы Карла сохранить сильное королевское правительство в 1639 г. были не столь печальны, как перспективы Людовика в период Фронды.)

Однако в радикально другом направлении могли бы пойти не только карьеры королей. Сколько из тех, кто в 1640-х стали парламентариями, в ином случае стали бы преданными слугами монархического режима? В большинстве случаев этот вопрос остается открытым. Но по крайней мере в одном сомнений не возникает. В 1640-х сэр Томас Фэйрфакс (1612 г. р.) считался апологетом Парламента: он был командующим Армией нового образца, архитектором решительной победы над роялистами при Нейзби в 1645 г. и генералом, обеспечившим

<sup>311</sup> Tuck R. “The Ancient Law of Freedom”: John Selden and the English Civil War // Morrill J. (Ed.). *Reactions to the English Civil War, 1642–1649*. London, 1982. Pp. 137–161.

<sup>312</sup> Russell C. *Fall of the British Monarchies 1637–1642*. Oxford, 1991. P. 227.

<sup>313</sup> Я благодарен профессору Оливье Шалину (*École normale supérieure*) за обсуждение этого вопроса.

<sup>314</sup> Об ограничениях власти французского правительства в конце семнадцатого века: Mettam R. *Power, Status, and Precedence: Rivalries among the Provincial Elites in Louis XIV’s France* // Transactions of the Royal Historical Society 38 (1988). P. 43–82; Mettam R. *Power and Faction in Louis XIV’s France*. Oxford, 1988; см. также: Duindam J. *Myths of Power: Norbert Elias and the Early Modern European Court*. Amsterdam, 1995. Pp. 43–56.

выживание Парламента<sup>315</sup>. Но в 1639 г. Фэйрфакс сражался на стороне короля. Он входил в число ревностных энтузиастов наказания шотландцев, собрал отряд из 160 йоркширских драгунов и был посвящен в рыцари вместе с несколькими другими офицерами, которые, по мнению Карла I, особенно хорошо проявили себя в ходе этой кампании. История сыграла здесь любопытную шутку, ведь если бы режим, которому Фэйрфакс так преданно служил в 1639-м, добился процветания, английскому Парламенту, вероятно, настал бы конец на долгие десятилетия – а может, и века. Возможно, даже до 1789?

---

<sup>315</sup> *Clark Memorial Library*, Los Angeles, MS W765M1/E56/ c. 1645/Bound, John Windover, 'Encomion Heroicon... The States Champions in honor of... Sr Thomas Fairfax' [c. 1646]; *The Great Champions of England* (1646), *BL*, 669, fol. 10/69.

## Глава вторая

### Британская Америка

#### *Что, если бы не случилось Американской революции?*

Джонатан К. Д. Кларк

*Думаю, я могу с уверенностью заявить, что ни это правительство [Массачусетса], ни любое другое правительство на континенте ни вместе, ни порознь не желают независимости и не стремятся к ней... Я вполне убежден, как убежден и в собственном существовании, что ни один разумный человек во всей Северной Америке не желает ничего подобного. Напротив, самые пылкие сторонники свободы всем сердцем желают восстановления мира и спокойствия на конституционных основаниях, во избежание ужасов гражданской войны.*  
*Джордж Вашингтон капитану Роберту Маккензи, 9 октября 1774 года*<sup>316</sup>

#### Неизбежность англо-американской истории

В обществах, убежденных в правомерности и неизбежности своего существования, история сталкивается с серьезным препятствием. Движимые секулярными идеологиями, общими религиозными верованиями или оптимистичными настроениями, эти общества изобретают интеллектуальные стратегии, чтобы вытеснить все мысли о нереализованных вариантах, их количестве, вероятности и привлекательности для тех, кто сознательно или бессознательно, предусмотрительно или безрассудно в итоге сделал роковой выбор. Хотя Англия представляет собой типичный пример такого общества, ни одна страна Западного мира не подходила к этой задаче так систематично и не добивалась таких успехов, как Соединенные Штаты. Американская исключительность по-прежнему остается мощнейшим коллективным мифом, который зародился еще во времена отцов-основателей. Неудивительно, что столь немногие американские историки отваживались всерьез подвергать сомнению доктрину “явного предначертания”, задаваясь гипотетическими вопросами. Немногочисленные писатели, которые все же представляли американскую историю без независимости, как правило, преподносили эту идею как шутку<sup>317</sup>. Ранние американские историки новой республики хотя бы пытались сбежать от чувства неизбежности, которое давала роль божественного провидения в их пуританском наследии, и уделить должное внимание роли случая, но эти попытки быстро прекратились. Необходимость признавать доктрину “явного предначертания” независимости Соединенных Штатов сделала невозможными рассуждения о двух величайших гипотетических сценариях новой западной истории. Не случись американской революции, французское правительство не понесло бы огромные военные расходы, обусловленные участием в американской войне, а потому старый режим во Франции вряд ли рухнул бы в 1788–1789 гг. – и уж точно вряд ли рухнул бы окончательно. При воссоздании гипотетического хода событий 1776 г. главное не польстить уязвленному британскому самолюбию, а разобраться, возможно ли было избе-

---

<sup>316</sup> Цит. по: Fitzpatrick J. C. (Ed.). *The Writings of George Washington*. 39 Vols. Washington, 1931–1944. Vol. III. Pp. 244–247.

<sup>317</sup> Некоторые задавались этим вопросом, но не всерьез. См.: Thompson R. *If I Had Been the Earl of Shelburne in 1762–1765* // Snowman D. (Ed.). *If I Had Been...* London, 1979. P. 11–29, и Wright E. *If I Had Been Benjamin Franklin in the early 1770s* // Snowman D. (Ed.). *If I Had Been...* London, 1979. P. 33–54.

жать последовательности “великих” национальных революций, в которой революция 1789 г. по праву занимает второе место и которая истребила культуру “старого порядка” по всей Европе. Режимы в тот период падали, подобно костям домино, и привычка анализировать эту последовательность лишила европейских историков повода сомневаться в неизбежности американского инцидента, который запустил цепочку.

Недостаток интеллектуальных вызовов американской самодостаточности из-за пределов Американской республики, таким образом, стал одним из незаметных аспектов наследия Французской революции. И все же, что касается британских отношений с бывшими североамериканскими колониями, недостаток конструктивной критики более примечателен. Причина этому отчасти кроется в том, что полученная в 1783 г. независимость лишила американский вопрос его прежнего статуса внутренней проблемы британской истории и подарила ему самостоятельность, из-за чего он потерял значимость вне собственного контекста. Однако гораздо важнее, что отсутствие британского анализа американских гипотетических сценариев отражает отсутствие подобного анализа и для событий британской истории. До недавних пор британские историки, очевидно, не считали нужным рассматривать, что могло бы случиться, ведь фактическое развитие событий, с их точки зрения, казалось вполне приемлемым. Лежащая в основе “вигской историографии” телеология была всецело сообразна американскому варианту. Вигские историки порой позволяли себе ненадолго погрузиться в стихию сослагательного наклонения, но только чтобы подчеркнуть ее отгалкивающую и недопустимую природу. Викторианцы пугали себя гипотетическими сценариями, как рассказами о привидениях, представляя нестерпимое, но при этом чувствовали себя в безопасности, осознавая его невозможность.

Однако несколько писателей все же решилось вновь поставить вопросы, которые английская история традиционно считала решенными. Джеффри Паркер использовал гипотетическую среду, чтобы представить доказательства силы испанских сухопутных войск в 1588 г. и слабости их английских противников и проанализировать возможные последствия хотя бы ограниченных военных успехов испанцев, в случае если бы они сумели высадиться в Англии<sup>318</sup>. Еще более провокационным образом от традиций отошел Конрад Расселл, который в пародийном ключе обрисовал победу Якова II над вторгшимися в 1688 г. войсками Вильгельма Оранского, отринув краткосрочные совпадения и приписав триумф католицизма и абсолютной монархии в Англии глубоким и долгосрочным причинам<sup>319</sup>. Анализируя идеологические последствия революции 1688 г., Джон Покок тоже пришел к выводу, что правящие классы ни за что не согласились бы на свержение Якова II, если бы он не бежал из страны<sup>320</sup>. Подобные изыскания имеют основания, ведь, как заметил Расселл, если Славную революцию 1688 г. нельзя считать неизбежной, мы вряд ли можем обойтись без анализа гипотетических вопросов об Американской революции. Термин “революция” не присваивает особого статуса совокупности описываемых им событий, которых можно было избежать.

<sup>318</sup> Parker G. *If the Armada Had Landed* // *History* 61 (1976). P. 358–368.

<sup>319</sup> Russell C. *The Catholic Wind* // Russell C. *Unrevolutionary England, 1603–1642*. London, 1990. P. 305–308.

<sup>320</sup> “Однако, используя единожды сослагательное наклонение, мы начинаем рассматривать гипотетические сценарии. Есть очевидные возражения против этого. История содержит бесконечное число условных переменных, в связи с чем наш выбор гипотетических посылок неизбежно случаен. Но гипотетическая история занимается не столько тем, что произошло бы, сколько тем, что могло бы произойти, и рассматривает исходы, которые так и не наступили, но которые могли бы наступить, как казалось непосредственным участникам событий или как кажется нам, когда мы заглядываем в прошлое. Именно это позволяет нам лучше понять проблематику, в рамках которой действовали участники событий. Любой исторический факт представляет собой сочетание того, что случилось, и того, что не случилось, но могло бы произойти, и никто не знает этого лучше нас, ведь мы проводим свою жизнь на расстоянии мысли о немых возможностях, ряд которых время от времени воплощается в жизнь”. Pocock J. G. A. *The Fourth English Civil War: Dissolution, Desertion and Alternative Histories in the Glorious Revolution* // *Government and Opposition*, 23 (1988). P. 151–66, особенно p. 157.

## Альтернативы Стюартов: империя со множеством парламентов – или без парламента вообще?

Что касается Америки, гипотетический сценарий необходимо связывать с поздними Стюартами и их наследниками в изгнании, ведь в случае создания британской трансатлантической империи одним из вариантов существования Британской Америки в восемнадцатом веке было сохранение ее статуса британского владения в рамках империи, по-прежнему управляемой этой династией, которой была уготована столь странная судьба. Такой исход мог подразумевать установление одного из двух довольно разных порядков, которые могли бы укрепить долгосрочное единство английской империи. Первый установился бы, если бы осуществились планы Якова II по реорганизации колониального правительства и если бы он сумел удержаться на троне в 1688 г. Второй установился бы, если бы один из его преемников вернул престол, который Яков потерял, а отношения Британии с колониями впредь копировали бы отношения между королевствами Британских островов.

Можно сказать, что планы Якова II в отношении американских колоний отражали его непоколебимую приверженность бюрократической централизации и неприятие представительных ассамблей. Однако они оставались вероятным ответом на американские реалии, поскольку Яков с самого начала активно участвовал в колониальных делах. Как герцог Йоркский, в 1664 г. он получил в собственность колонии Нью-Джерси и Нью-Йорк, после того как они были завоеваны в ходе второй англо-голландской войны. Яков имел опыт колониальных конфликтов, поэтому, будучи собственником Нью-Йорка, он упорно отвечал отказом на местные требования о созыве ассамблеи. В 1683 г. он неохотно согласился на создание такого института, но быстро распустил его по восшествии на престол в 1685 г., когда Нью-Йорк получил статус коронной колонии<sup>321</sup>. Массачусетс также лишился собственной ассамблеи, когда в 1684 г. была пересмотрена и переиздана его хартия. Затем Яков пошел еще дальше и объединил колонии Коннектикут, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Род-Айленд в новое владение, доминион Новая Англия, под управлением генерал-губернатора. Впоследствии доминион был расширен за счет включения в его состав Нью-Джерси и Нью-Йорка, из-за чего возникли опасения, что Яков хочет сделать его образцом для слияния всех американских колоний в два-три доминиона<sup>322</sup>. Вероятно, путем запрета колониальных ассамблей и усиления власти генерал-губернатора, в первую очередь планировалось превратить колонии в легко обороняемые военные единицы, в то время как задача установления религиозной толерантности в отношении упорствующих конгрегационалистов была вторична. Однако комплексный эффект этих мер привел к полномасштабному всплеску “папизма и произвола”, уже знакомого в Англии, и неожиданному подъему сопротивления, после того как в колониях стало известно о победе Якова в декабре 1688 г.: в Америке тоже произошла Славная революция<sup>323</sup>.

Если бы в Англии не случилось революции 1688 г., американские колонии на том этапе развития вряд ли смогли бы противостоять централизации своих правительств в трех “доминионах” и ликвидации или ослаблению местных ассамблей. В отсутствие структуры, которую эти ассамблеи обеспечивали в восемнадцатом веке, маловероятно, что колониальные конституционные дебаты приняли бы ту форму, которую они в итоге приняли. Америка, с самого начала подчиненная английской власти и организованная по образцу устройства метрополии, где вестминстерский, эдинбургский и дублинский парламенты – но особенно вестминстер-

---

<sup>321</sup> Ritchie R. C. *The Duke's Province: A Study of New York Politics and Society, 1664–1691*. Chapel Hill, 1977.

<sup>322</sup> Barnes V. F. *The Dominion of New England: A Study in British Colonial Policy*. New Haven, 1923. Pp. 35–36, 44.

<sup>323</sup> Lovejoy D. *The Glorious Revolution in America*. 2<sup>nd</sup> ed. Middletown, Conn., 1987.

ский – играли гораздо менее важную роль, имела бы гораздо меньший потенциал к сопротивлению в 1760-х и 1770-х гг.<sup>324</sup>

В таком случае первая альтернатива предполагает – как в то время свято верили вигские историки, – что правление Стюартов положило бы конец парламентам. Это по крайней мере спорно: если Карлу I, Карлу II и Якову II было тяжело работать с парламентами в основном из-за религиозных конфликтов, можно предложить альтернативный сценарий, в котором достижение компромисса по религиозным вопросам сделало бы Стюартов не более нерасположенными к практике работы демократических ассамблей, чем любая другая династия. История Стюартов после 1688 г. подтверждает это, поскольку побег Якова II в 1688 г. не решил династического вопроса. Заговоры с целью реставрации “готовились, разоблачались и расследовались в 1689–1690, 1692, 1695–1696, 1704, 1706–1708, 1709–1710, 1713–1714, 1714–1715, 1716–1717, 1720–1722, 1725–1727, 1730–1732, 1743–1744, 1750–1752 и 1758–1759 гг. Вдохновленные якобитами иноземные вторжения срывались стихией и королевским флотом (почти в равной пропорции) в 1692, 1696, 1708, 1719, 1744, 1746 и 1759 гг.”<sup>325</sup>. Эти попытки все чаще сопровождались прокламациями Якова II, его сына и внука, в которых провозглашалось безграничное уважение к формам государственного устройства, прежде подвергавшимся угрозам с их стороны. После 1689 г. с минимальной терпимостью к представительным ассамблеям стали относиться уже Вильгельм Оранский, виги и Ганноверы, а Стюарты в изгнании начали призывать к созыву свободных парламентам, не восприимчивых к щедротам духовенства<sup>326</sup>. Помимо цели освобождения вестминстерского, эдинбургского и дублинского парламентам, существовала легитимистская конституционная теория, которая, подчеркивая значимость монархии, подразумевала, что единство королевств Англии, Шотландии и Ирландии выражается исключительно в факте их подчинения общему суверену. В 1660 г. восстановленная монархия намеренно отменила кромвелевские унии с Шотландией и Ирландией; надеясь на поддержку шотландцев, Стюарты планировали отменить и унию 1707 г. Шотландские якобиты стремились к реставрации династии Стюартов и эдинбургского парламента, а ирландские якобиты десятилетиями вынашивали аргументы о законодательном равноправии Англии и Ирландии, громче всего провозглашенные ирландскими вигами в 1780-х гг.<sup>327</sup> Если бы Якова II не сгубил его религиозный пыл, такой конституционный *modus vivendi* мог бы подойти и для него.

Подобная структура оказалась бы столь же полезной в Северной Америке, как и на Британских островах. До 1770-х гг. американцы-колонисты тоже порой выражали желание получить большую законодательную автономию в стабильных рамках империи. Они обращались к аргументу, который Ганноверам казался поразительно торийским, связанным с огромным пиететом к короне: ассамблея каждой колонии называлась равноправной вестминстерскому парламентам, а составные части империи, как утверждали американцы, объединялись только подчинением общему суверену. Этот аргумент был свойственен не только немногочисленным американским колонистам. Он был распространен и в Англии, в сочинениях реформаторов

<sup>324</sup> Вариант устройства Америки, в котором главную роль играли бы военные губернаторы и бюрократы, а не представительные ассамблеи, воссоздан в работах Стивена Сандерса Уэбба: *The Governors-General: The English Army and the Definition of the Empire*, 1569–1681. Chapel Hill, 1979; Webb S. S. 1676: *The End of American Independence*. New York, 1984; Webb S. S. *Charles Churchill*. New York, 1996. Этот тезис противоречит господствующим убеждениям и потому не получил должной оценки.

<sup>325</sup> Holmes G., Szechi D. *The Age of Oligarchy: Preindustrial Britain 1722–1783*. London, 1993. P. 97.

<sup>326</sup> Например: *His Majesty's Most Gracious Declaration to all his Loving Subjects*, 17 April 1693 // Szechi D. *The Jacobites: Britain and Europe 1688–1788*. Manchester, 1994. Pp. 143–145.

<sup>327</sup> В запоздалой записке Карла Эдварда Стюарта с перечислением пунктов для следующего торжественного заявления в 1753 г. значится: “7. Предложить свободному Парламенту унию трех королевств”, см.: Szechi D. *The Jacobites: Britain and Europe 1688–1788*. Manchester, 1994. Pp. 150–151. Однако этот гипотетический сценарий был неправдоподобен, и при планировании вторжения в 1759 г. французы по-прежнему предполагали роспуск унии 1707 г., см.: Nordmann Cl. *Choiseul and the Last Jacobite Attempt of 1759* // Cruickshanks E. (Ed.). *Ideology and Conspiracy: Aspects of Jacobitism, 1689–1759*. Edinburgh, 1982. Pp. 201–217.

вроде диссинтерского священника и философа Ричарда Прайса<sup>328</sup>. Подобно тому как якобизм на поздних стадиях стал походить на протестное движение, когда к его доктринальным основам прибавился ряд общественных требований, заложивших почву для платформы Джона Уилкса, конституционные доктрины эхом отдались во многих неожиданных точках политического спектра. Британия Стюартов, возможно, пришлось бы по вкусу электорату по обе стороны Атлантики.

После провозглашения независимости стало казаться, что американские колонисты всегда были яркими противниками монархии. Некоторые отрывки из сочинений отцов-основателей действительно можно интерпретировать подобным образом. К примеру, в 1775 г. Джон Адамс, который одним из первых в своем поколении стал призывать к полной независимости, а впоследствии стал вторым президентом США, утверждал, что идея “Британской империи” в Америке не гарантировалась конституционным правом, “была внедрена в качестве аллюзии на Римскую империю и должна была внушить мысль, что прерогатива имперской короны Англии” была абсолютной и не распространялась на Палату лордов и Палату общин<sup>329</sup>. Однако большинство колонистов привлекала удобная и внешне патриотическая точка зрения, что каждая колония была связана с империей только посредством связи с короной. Для многих американцев эта модель оставалась привлекательной и после обретения независимости. В 1800 г., размышляя о текущем балансе сил между федеральным правительством и штатами, вирджинский революционер Джеймс Мэдисон, соавтор “Федералиста” и избранный в 1809 г. четвертый президент США, утверждал:

Фундаментальный принцип революции заключался в том, чтобы колонии были скоординированы между собой и с Великобританией внутри империи с общим исполнительным сувереном, однако не объединялись общим законодательным сувереном. Законодательная власть в каждом американском парламенте оставалась столь же полной, как и в британском. Королевская прерогатива в каждой колонии действовала через признание верховенства исполнительной власти короля, как происходило и в Британии, где также признавалось это верховенство<sup>330</sup>.

Это была старая парадигма дебатов, в которой на первом плане стояли хартии, статуты и привилегии общего права. Само собой, колониальные аргументы в итоге стали выражаться в рамках достаточно сильно отличающейся парадигмы общего права, которая оказалась весьма опасной. Его происхождение можно проследить до середины 1760-х гг. К примеру, в 1764 г. бостонский юрист Джеймс Отис, один из первых патриотов-полемистов, обратился к предложенному Локком антистюартовскому аргументу о естественном праве, чтобы доказать, что правительство распускалось всякий раз, когда законодательная власть предавала его давление и тем самым рушило “этот фундаментальный, священный и неизменный закон самосохранения”, ради чего мужчины “вступали в общество”<sup>331</sup>. Революционная доктрина о том, что по “закону природы” люди, покидающие родину, чтобы построить новое общество в другом

---

<sup>328</sup> Price R. *Observations on the Nature of Civil Liberty, the Principles of Government, and the Justice and Policy of the War with America*. London, 1776. P. 28: “Империя представляет собой совокупность государств или общин, связанных воедино. Если каждое из этих государств имеет свободу выбора формы правления и независимо от других государств в отношении налогообложения и внутреннего законодательства, но при этом все их объединяет соглашение, альянс или подчинение Верховному Совету, представляющему их как единое целое, или одному монарху, наделенному верховной исполнительной властью, то в таких обстоятельствах империя становится империей свободных людей”.

<sup>329</sup> 6 февраля 1775 г., см.: John Adams and Jonathan Sewall [sc. Daniel Leonard], *Novanglus and Massachusetts; or Political Essays, published in the Years 1774 and 1775, on the Principal Points of Controversy, between Great Britain and her Colonies*. Boston, 1819. P. 30.

<sup>330</sup> Hunt G. (Ed.). *The Writings of James Madison*. 9 vols. New York, 1900–1910. Vol. VI. P. 373.

<sup>331</sup> Otis J. *The Rights of the British Colonies Asserted and Proved*. Boston, 1764. P. 23.

месте, “восстанавливают свою естественную свободу и независимость”, еще в 1766 г. прозвучала из уст уважаемого вирджинского политика и публициста Ричарда Бланда. Согласно Бланду, “юрисдикция и суверенитет покинутого ими государства прекращаются”, поскольку эти люди “становятся суверенным государством, независимым от государства, от которого они отделились”<sup>332</sup>. После революции подобные аргументы были выстроены в прямую дорогу к независимости. И все же этот переход к парадигме естественного права не был неизбежным и не распространился повсеместно до 1770-х гг. Если бы империя еще с 1688 г. была организована на основе автономии колоний, лично связанных с королем, подобные положения естественного права, возможно, даже не были бы сформулированы. Англо-американские диспуты могли бы пойти по другому пути и развиваться в четко определенном, обсуждаемом контексте конкретных свобод и привилегий<sup>333</sup>.

В рамках английского права была еще одна сфера, где дебаты могли пойти в другом направлении. Формально все земли Америки были переданы короной поселенцам на правах “свободной и равной барщины”, как если бы они находились в поместье Ист-Гринвич в Кенте<sup>334</sup>. По закону они были просто частью королевских владений. В 1766 г. Бенджамин Франклин высмеял эту древнюю доктрину английского земельного закона, однако остальные использовали ее в республиканских целях<sup>335</sup>. Это была доктрина, на которую могли ориентироваться обе стороны. Джон Адамс цитировал ее в интересах независимости, чтобы показать, что в английском праве при Якове I не содержалось ни положения о “колонизации”, ни “положения... об управлении колониями за Атлантическим океаном или за четырьмя морями властью парламента, ни положения о даровании королевских хартий субъектам, которые будут основаны за границей”<sup>336</sup>. По-прежнему бытовало мнение, что колонисты могут использовать доктрину, чтобы предоставить конкретное толкование трансатлантической конституции. Однако эту доктрину можно было использовать и иным образом: утверждение, что люди возвращали свои права по закону природы, покидая королевство, всегда было уязвимым, поскольку король обладал гарантированным общим правом предотвращать подобную эмиграцию (по приказу *ne exeat regno*). Если колонии были королевскими пожалованиями, некоторые колонисты могли утверждать (вопреки заявлению Бланда о том, что колонии были свободными и независимыми государствами), что они по-прежнему оставались подданными Английского королевства, а следовательно, могли рассчитывать на все права англичан, включая “нет налогам без представительства”. Полная независимость не была ни единственным возможным, ни неизбежным исходом феноменального подъема конституционной и политической теории, наблюдаемого в Америке в 1763–1776 гг.

Несмотря на положения естественного права и самоочевидные истины Декларации независимости, которые вытекали из этих положений, эта более старая конституционная парадигма оставалась базовой до самого начала войны. В 1775 г. лорд главный судья лорд Мэнсфилд в ходе дебатов в Палате лордов заявил, что требования колоний сосредоточены на принципе британского господства, а не на деталях противоречивого законодательства.

<sup>332</sup> Bland R. *An Enquiry into the Rights of the British Colonies; intended as an Answer to 'The Regulations lately made concerning the Colonies, and the Taxes imposed upon them considered.'* In a Letter addressed to the Author of that Pamphlet. Williamsburg, 1766 (непечатка: London, 1769). P. 12.

<sup>333</sup> Даже *A Summary View of the Rights of British America* (Williamsburg, 1774) Томаса Джефферсона, которое перекликалось с доктриной Бланда и Отиса о праве народа основывать новые государства (с. 6), было составлено в старой форме петиции в адрес короны с просьбой исправить ошибки, но использовало и новую парадигму естественных прав.

<sup>334</sup> Barnes V. F. *The Dominion of New England: A Study in British Colonial Policy*. New Haven, 1923. P. 178; Andrews Ch. M. *The Colonial Period of American History*. 4 vols. New York, 1934–1938. Vol. I. P. 86 n.

<sup>335</sup> [Franklin B.] *On the Tenure of the Manor of East Greenwich* // *Gazetteer*, 11 January 1766 // Labaree L. W. et al. (Eds). *The Papers of Benjamin Franklin*. New Haven, 1959 –. Vol. XIII. Pp. 18–22.

<sup>336</sup> *Novanglus and Massachusettensis*, p. 94.

Если я не ошибаюсь, в одном месте Конгресс сводит все свои недовольства к принятию деклараторного закона [1765 г.], который утверждает главенство Великобритании, или ее право создавать законы для Америки. Это главный камень преткновения. Они отрицают само право, а не способ его реализации. Они передают королю Великобритании номинальное господство над ними, но ничего более. Они отказываются от зависимости от короны Великобритании, но не от самой личности короля, которому они собираются передать шифр. При благоприятном стечении обстоятельств они окажутся в тех же отношениях с Великобританией, в которых сегодня состоит Ганновер, а если говорить точнее, в каких состояла Шотландия по отношению к Англии до заключения унии<sup>337</sup>.

Таким образом, конституционные доктрины и практические цели были взаимозависимы. В Британии восемнадцатого века под властью династии Стюартов подобные доктрины проще было бы использовать в качестве способа пересмотреть имперские отношения, чтобы совладать с ростом населения колоний, их благосостояния и политической зрелости. В итоге после доклада графа Даремского 1839 г. метрополия рассмотрела бы вопрос о возможности делегирования имперской власти. Вполне вероятно, что непрерывный или отреставрированный режим Стюартов на Британских островах последовал бы конституционной формуле, которая невольно поспособствовала бы более раннему запуску процесса имперского делегирования, и тем самым нашел бы применение американским амбициям, вместо того чтобы им противостоять. Однако реставрации Стюартов, само собой, не произошло, и прогрессивная Британия все больше стала склоняться к блэкстоуновской доктрине абсолютной власти короны в парламенте, в то время как ретроградная Америка, все еще одержимая идеями жившего в семнадцатом веке юриста сэра Эдварда Кока, в итоге начала вооруженное сопротивление.

---

<sup>337</sup> [Cobbett W., Hansard T. C.]. *The Parliamentary History of England from the Earliest Period to the Year 1803*. 36 vols. London, 1806–1820. Vol. XVIII. Col. 957–958.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.